Разведка трагедии

Казнь Николая Гумилева

Юрий Зобнин

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Незадолго до смерти Николай Гумилев писал: «Я часто думаю о старости своей, / О мудрости и о покое…» Поэт был убит в возрасте 35 лет…

Историки до сих пор спорят о подлинных причинах и обстоятельствах его гибели — участвовал ли он в «контрреволюционном заговоре», существовал ли этот заговор вообще или просто «есть была слишком густой, и Гумилев не мог в нее не попасть». Несомненно одно — он встретил смерть настолько мужественно и достойно, что его смелостью восхищались даже палачи: «Этот ваш Гумилев… Нам, большевикам, это смешно. Но, знаете, шикарно умер. Улыбался, докурил папиросу… Фанфаронство, конечно. Но даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодчество, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает…»

Это «поэтическое расследование» подробно анализирует все версии ареста, следствия и казни поэта, восстанавливая подлинные обстоятельства трагедии и разгадывая одну из главных тайн русской литературы XX века.

- Казнь Николая Гумилева. Разгадка трагедии. Повесть о смерти и бессмертии Николая Гумилева
  - Вместо предисловия
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - XI
  - XII
  - XIII
  - XIV
  - XV
  - XVI
  - XVII
  - XVIII
  - XIX

- XX
- XXI

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40
  - 41

- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85

- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129

- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173

- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177

Казнь Николая Гумилева. Разгадка трагедии. Повесть о смерти и бессмертии Николая Гумилева

Вместо предисловия

Майклу, Маргарите, Алеше, Алене, Антону

Автор

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток,
и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей
на Страшный Господень суд.
Но нет Востока, и Запада нет, что племя,
родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу
у края земли встает?

Редьярд Киплинг

В раннее утро 25 августа 1921 года перелесок на краю Ржевского полигона близ Бернгардовки был необычно и страшно оживлен. Круглую поляну на откосе окружала цепочка вооруженных солдат, электрические фонари освещали топкую низину прямо под крутым изгибом реки Лубьи. Рядом с вывороченными вверх мощными корнями завалившегося дерева чернели два свежевыкопанных рва. Темные фигуры в грубых грузных шинелях вытягивали из дверей заброшенного порохового склада причудливо одетых людей, мужчин и женщин — в исподнем, халатах, «толстовках», изодранных полевых гимнастерках без погон, — и гнали затем кулаками и штыками к ямам. Двое конвоиров вывели человека в измятом черном костюме без галстука и, придерживая его руками за локти, отвели к самому краю нелепого строя, выставленного прямо перед темнеющими в рассветной голубизне неба сосновыми корнями. Человек медленно оглянулся и, не торопясь, сонным движением потянув из кармана пиджака папиросу, закурил.

Внезапно беготня людей в шинелях оборвалась: на лесной дороге появился черный лимузин. Еще до того, как машина, буксуя и скрипя, застыла, из открытого кузова, спотыкаясь, выскочил молодой военный в щегольской форме, пробежал

несколько шагов и крикнул;

— Поэт Гумилев, выйти из строя!

Человек в черном оживился и, как бы не замечая застывших сзади конвоиров, сделал шаг вперед.

— А они? — и спокойным плавным жестом левой руки он указал на двигающуюся и… тихо воющую за его спиной шеренгу.

А молодой военный щеголь крикнул: — Николай Степанович, не валяйте дурака!

Человек в черном вдруг улыбнулся, бросил недокуренную папиросу под ноги и аккуратно затушил носком ботинка. Затем, так же не торопясь, стал в строй у ямы и звонким, громким голосом произнес:

— Здесь нет поэта Гумилева, здесь есть офицер Гумилев!

И тогда раздался залп…

* * *

Это — легенда.

Документально подтвержденных свидетельств о последних минутах жизни Николая Гумилева нет, но Анна Ахматова и первый биограф поэта П. Н. Лукницкий уверенно называли местом казни и захоронения всех расстрелянных в августе 1921 года по делу «Петроградской боевой организации» (ПБО), — окраину Ржевского полигона.

— Я про Колю знаю, — рассказывала Ахматова Л. К. Чуковской в 1962 году. — Их расстреляли близ Бернгардовки, по Ириновской дороге. У одних знакомых была прачка, а у той дочь — следователь. Она, то есть прачка, им рассказала и даже место указала со слов дочери. Туда пошли сразу, и была видна земля, утоптанная сапогами. А я узнала через 9 лет и туда поехала. Поляна; кривая маленькая сосна; рядом другая, мощная, но с вывороченными корнями. Это и была стенка. Земля запала, понизилась, потому что там не насыпали могил. Ямы. Две братские ямы на 60 человек Когда я туда приехала, всюду росли высокие белые цветы. Я рвала их и думала: «Другие приносят на могилу цветы, а я их с могилы срываю»[1].

Ахматова побывала на Ржевском полигоне дважды — в 1930 и 1941 годах. С ее слов П. Н. Лукницкий составил план[2], который спустя полвека использовали поисковики группы «Мемориал», установившие место погребения великого поэта России. «…Точка, которую Лукницкий обозначил как место расстрела и захоронения Н. С. Гумилева, достаточно точно может быть нанесена на карту Ржевского артиллерийского полигона. <…>

Все пустые пространства и лужайки в настоящее время заросли смешанным лесом, а по тропе Лукницкого, идущей к реке, сегодня вообще проходит трасса газопровода. Тем не менее излучины реки в целом сохранили свои очертания, и прямой участок Лубьи сохранился (его конфигурация определена высоким берегом). Сама точка Лукницкого представляет собой низкую излучину, заросшую деревьями. И хотя размещение захоронения на низком берегу у самой воды, вообще говоря, вызывает сомнения, поднимающийся в десятке метров от края воды высокий покатый берег образует обычный расстрельный ландшафт, известный нам по другим регионам (предпочтение обычно отдавалось песчаным склонам, более удобным для выкапывания траншейных ям и для последующей их засыпки). Если же подняться на самый верх, то мы оказываемся на достаточно плоской вершине холма, по которой проходят неглубокие ложбины, а в 100–150 метрах западнее мы увидим сквозь деревья краснокирпичные стены порохового погреба, с обнаружения которого мы и начали наш поиск. И тут уместно добавить, что старый пороховой погреб хорошо известен среди местных жителей под необъяснимым, с их точки зрения, названием. Со слов своих отцов они называют это здание — тюрьма»[3].

Дурная слава окружала эти места задолго до августа 1921 года — с того момента, как после начала «красного террора» (5 сентября 1918 года) Петроградская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем ввела в практику массовые расстрелы[4]. Речь тогда шла, прежде всего, о заложниках, случайно оказавшихся в заключении по самым разным причинам, от банальной спекуляции до некстати произнесенных неосторожных слов, и казнимых в целях устрашения и мести — за покушения на Ленина и Урицкого, за гибель К. Либкнехта и Р. Люксембург во время Берлинского восстания, за поражения Красной Армии на фронтах Гражданской войны и т. п.[5] Помимо правовой и морально-этической специфики, это коммунистическое новшество в отечественной практике исполнения наказаний имело и специфическую «техническую» сторону. Ведь в Российской империи даже в самое грозное время революционных волнений 1905–1907 годов и в годы Первой мировой войны смертная казнь была всегда мерой исключительной и, как правило, строго «индивидуальной». «Рассказ о семи повешенных» Л. Н. Андреева, потрясший в 1908 году российских читателей, рисует мыслимо возможную тогда массовую экзекуцию, подготовка к которой, как следует из самого рассказа, начинается более чем за месяц. В период междувластия

1917 — начала 1918 года по стране прокатилась волна массовых расправ и погромов, но тут действовала слепая ярость неуправляемой, мятежной толпы.

«Красный террор» поставил перед сотрудниками ВЧК невиданную до того в России задачу уничтожения заключенных, поставленного «на поток». Так, в том же Петрограде за один 1918 год чекистам нужно было умертвить минимум 1169 человек (по официальной статистике)[6]. Это требовало новой методики исполнения смертных приговоров.

С начала «красного террора» массовые расстрелы проходили по ночам в подвалах и внутренних дворах городских мест заключения, в том числе — в Петропавловской крепости[7]. Однако уже тогда, для особых случаев, стали появляться и загородные «спецучастки», служившие одновременно местом казни и конспиративным могильником. Одним из первых подобных «спецучастков» в истории Советской России и стал примыкающий к Рябовскому шоссе дальний угол Ржевского полигона, между станциями Ковалево и Приютино тогдашней Ириновской железной дороги (ныне включенной в систему Финляндской железной дороги и существенно перестроенной). Это было пустынное мелколесье, отделенное от самого полигона рекой Лубьей, где находился выстроенный еще в XIX столетии двухэтажный пороховой погреб, обнесенный с трех сторон огромным земляным валом (на случай взрыва хранившихся боеприпасов). К погребу была проложена грунтовая подъездная дорога, а на въезде располагалось караульное помещение. К концу 1910-х годов пороховой погреб, караулка и прилегающая к ним пустошь были заброшены. Для тайных чекистских гекатомб это было идеальное место, расположенное относительно недалеко от города, но совершенно безлюдное, находящееся в охраняемой военной зоне, но отчужденное от нее и, главное, имеющее укрытое от любых посторонних глаз и ушей сооружение, которое можно было использовать в случае особенно большого количества жертв.

«Неопубликованные разыскания краеведа В. Фудалея суммируют собранные им свидетельства старожилов Ковалева и Ржевки. По собранным В. Фудалеем свидетельствам, места расстрелов „были в оврагах и на болотах между Ковалево и Приютино“. Заслуживает упоминания и свидетельство В. Т. Будько: „Говорили старики о пороховом погребе у Приютина, что он был накопителем, т. е. туда привезут, а потом выводят на расстрел. Так он стоит до сих пор, это точно. Но ввязываться я в это дело не хочу“[8]. В апреле — мае 1921 года где-то здесь, у станции Ковалево, расстреливали матросов — участников

Кронштадтского мятежа (всего по этому делу было осуждено на смертную казнь 2103 человека)[9]. Что же касается расстрела 25 августа 1921 года, то С. П. Мельгунов, опираясь на свидетельство анонимного автора эсеровской газеты „Революционное дело“, описывает происходившее так:

„Расстрел был произведен на одной из станций Ириновской ж<елезной> д<ороги>. Арестованных привезли на рассвете и заставили рыть яму. Когда яма была наполовину готова, приказано было всем раздеться… Часть обреченных была насильно столкнута в яму, и по яме была открыта стрельба. На кучу тел была загнана и остальная часть и убита тем же манером. После чего яма, где стонали живые и раненые, была засыпана землей“[10].

О поведении Гумилева в эти последние, чудовищные минуты перед расстрельной ямой рассказывал в 1921 году в разговоре с М. Л. Лозинским поэт С. П. Бобров — „сноб, футурист и кокаинист, близкий к ВЧК и вряд ли не чекист сам“, как характеризует его Г. В. Иванов, который и зафиксировал этот разговор в своих „Петербургских зимах“: „Да… Этот ваш Гумилев… Нам, большевикам, это смешно. Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук Улыбался, докурил папиросу… Фанфаронство, конечно. Но даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодчество, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает. Что ж — свалял дурака. Не лез бы в контру шел бы к нам, сделал бы большую карьеру. Нам такие люди нужны“[11].

Георгий Иванов — не самый достоверный мемуарист, однако нечто подобное упоминается в целом ряде других источников. Актриса Д. Ф. Слепян, например, пишет о своей встрече в театре „с бывшим старым чекистом <…>, который присутствовал при расстреле Гумилева. Он рассказывал, что был поражен его стойкостью до самого трагического конца“[12]. „В последний день, когда было назначено исполнение приговора, — рассказывал в 1923 году Л. В. Горнунгу осведомленный В. А. Павлов, также привлекавшийся по „делу ПБО“, — арестованных вывезли далеко за город. Поэты, близкие Гумилеву <…> разыскали какого-то садовника, жившего недалеко от места расстрела, предположив, что он мог что-то видеть, и уговорили его рассказать о случившемся. По его словам, всю партию поставили в один ряд. Многие мужчины и женщины плакали, падали на колени, умоляли пьяных солдат. Гумилев до последней минуты стоял неподвижно“[13].

Можно ли считать эти (и некоторые другие, подобные) свидетельства современников вполне достоверными? Нет,

конечно. Ведь и сами мемуаристы не скрывают, что все сведения об августовском расстреле на Ржевке получены ими из анонимных „третьих рук“ (от „ребят из особого отдела“, „старого чекиста“, „садовника, жившего поблизости“ и т. п.). Важно другое: даже если речь идет только о циркулировавших по городу слухах или о дезинформации, запускаемой службой ВЧК в конспиративных целях, — само *содержание* подобной апокрифической гумилевской мартирологии в высшей степени показательно. Частный исторический факт гибели человека — факт трагический, ужасный, но все-таки являющийся *сам по себе* лишь скорбным эпизодом в бесчисленном ряду других таких же смертей в эпоху кровавой гражданской распри, — вдруг превратился в повод для создания великого мифа о смерти поэта. В этом мифе каждый из его вольных или невольных творцов, включая — хоть это и дико! — даже самих расстрельщиков-чекистов („свалял дурака, не лез бы в контру, шел бы к нам, сделал бы большую карьеру — нам такие люди нужны!“), искал духовную опору, решающий нравственный аргумент в пользу добра, чести, личного мужества, благородства.

> Лишь небу ведомы пределы наших сил,
> Потомством взвесится, кто сколько утаил.

Гумилев подарил России и миру не только свою жизнь, наполненную великой поэзией, любовью, путешествиями. Он сумел подарить людям — последним и, быть может, величайшим подарком — *и свою смерть*, именно такую, что *ее образ мог стать затем синкретическим источником мифотворчества.*

Это, впрочем, понимали уже ближайшие к августу 1921 года современники, причем — вне зависимости от того, по какую сторону возведенной 1917 годом исторической баррикады они стояли. „Как человеческий и культурный тип, поэт Гумилев входит в длинную и славную галерею русских поэтов-воинов, и он займет в ней по поэтической значительности далеко не последнее место, — писал по горячим следам событий один из идеологов белой эмиграции, философ и общественный деятель П. Б. Струве. — Его трагическая гибель, в одном смысле случайная, как все, что происходит в бессмысленном мире низости и глупости, в другом смысле роковая, неотменимой кровавой связью соединит для истории литературы с его поэтической деятельностью — *память о самых ужасных днях падения и мук России*. То, что его казнили *палачи России*, не случайно. Это полно для нас глубокого и пророческого смысла, который мы должны любовно и мужественно вобрать в наши

души и в них лелеять“[14]. „Значение Гумилева и его влияние на современников огромно. Его смерть и для революционной России останется глубокой трагедией“, — синхронно возражал / соглашался один из активных организаторов ранней советской литературы в Сибири, „партийный коммунист“, по его собственной рекомендации, В. А. Итин[15]. А Максимилиан Волошин, в доме которого в годину лихолетья находили убежище „и красный вождь, и белый офицер“, под впечатлением дошедших до Крыма скорбных вестей из Петрограда написал в январе 1922 года потрясающее стихотворение, как кажется, точнее всего передающее то, что творилось тогда в душах как „белых“, так и „красных“ читателей Гумилева:

Может быть, такой же жребий выну,
Горькая детоубийца — Русь,
И на дне твоих подвалов сгину,
Иль в кровавой луже поскользнусь,
Но твоей Голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь.
Доконает голод или злоба,
Но судьбы не выберу иной:
Умирать, так умирать с тобой,
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!

„На дне преисподней“.

Нужно понимать: могила Гумилева так и не найдена и, по всей вероятности, не будет найдена никогда. Даже если „точка Лукницкого“ истинно указывает место трагедии 1921 года, вряд ли кому-нибудь придет теперь в голову дикая мысль поднимать грунт над расстрельными ямами и особо извлекать останки поэта, перемешанные с останками других жертв и мучеников гражданского противостояния, в котором сам Гумилев свободно и по совести избрал свою участь:

Не спасешься от доли кровавой,
Что земным предназначила твердь.
Но молчи: несравненное право
Самому выбирать свою смерть.

Мы не знаем с документальной исторической достоверностью[16] не только подробности расстрела в Бернгардовке, но и то, был ли собственно сам расстрел как

таковой (версий о месте и способах казни Гумилева и других участников „Петроградской боевой организации“ до сих пор много).

Но на низкой, топкой пустоши в Бернгардовке, неподалеку от той лесной поляны, каждый год на протяжении многих десятилетий собираются люди.

И стоит там простой железный крест, сваренный из обрезков двух труб, и лежат вокруг небольшие валуны: символические надгробья поэтов, убитых и замученных в России.

Крест установлен теперь и на самой территории порохового погреба, стены которого с 25 августа 2001 года отмечены памятным знаком „жертвам красного террора“. А на стволах и ветках ельника, выросшего на расстрельной пустоши, безвестные паломники год за годом крепят иконы, свечи, записки со стихами. В этом страшном, великом, таинственном и необыкновенном месте до сих пор с *физической* несомненностью ощущаешь духовную необходимость в неудержимом и непонятном стремлении живых к красноречивому безмолвию некрополей. Как некогда писал Пушкин:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Наверное, здесь будет создан когда-нибудь и традиционный, „архитектурный“ мемориал, однако никакое гранитно-мраморное оформление ничего не убавит и не прибавит в метафизическом значении места, *уже* ставшего во *мнении народном* одним из самых величественных и грозных русских некрополей. И точно так, как и Святогорский монастырь, как и склеп в Тарханах, — Ржевский полигон уже утратил для своих паломников непосредственную связь с исторической конкретикой, перерос ее, стал чем-то большим, чем только „место расстрела и погребения Гумилева“, „место воспоминания“…

Три таинственных кошмара преследуют духовное бытие любого причастника русской культуры, любого „русскоязычного“, независимо от состава его биологических генов. Они влекут и мучают его, как мучила и влекла Эдипа загадка Сфинкса, которую

зачем-то — пусть даже и ценой жизни! — нужно, *необходимо* разгадать.

Человек, распростертый в луже крови на девственно-белом снегу, в тридцатиградусный мороз.

Бумажный фунтик с вишнями, зажатый в мертвой руке.

И — эхо от выстрелов в душную и сырую августовскую ночь:

Когда упал на землю Гумилев
Она не взорвалась, не содрогнулась.

…Быть может, стайка серых соловьев
С ветвей зеленых яростно рванулась.

Но соловьям тогда был не сезон,
А с веток падать листья начинали.
Кто видел, как упал на землю он?
Те, кто стрелял… Они его не знали.

О нем немало горестных стихов,
Но — после гибели. При жизни — мало.
Россия ничего не понимала,
Когда упал на землю Гумилев.

Марина Левина. „Когда упал на землю Гумилев…“

I

В советский период истории России XX века трагический финал жизни Гумилева не был средоточием интересов его биографов. Излишнее любопытство здесь было чревато разнообразными неприятностями со стороны крепнущего советского коммунистического режима даже в 1920-е (сравнительно "вегетарианские", по выражению Ахматовой) годы.

Первый "архивариус" Гумилева П. Н. Лукницкий вполне сознательно акцентировал внимание в своей работе над "Трудами и днями" поэта на бытовом и эстетическом аспектах его творческой биографии, тщательно избегая идеологии и тем более политики. Его примеру следовали и продолжатели советской "гумилевианы"[17].

К осторожности в отношении обстоятельств гибели Гумилева, которому, по меткому выражению А. Чернова, "советская власть 70 лет не могла простить то, что она его расстреляла"[18], побуждали не только соображения личной безопасности. "Сам факт его участия в контрреволюционном заговоре оказался неожиданностью для многих современников, да и не только современников. Поверили не все. Но, тем не менее, Гумилев шестьдесят шесть лет официально считался контрреволюционером, и, как водится, такая оценка распространялась и на его стихи. Публикация стихов Гумилева была практически невозможна, и, чтобы отменить запрет, следовало снять с поэта обвинение в контрреволюционности" [19].

В. Сажин, обратившийся к истории ПБО в эпоху горбачевской "гласности", писал, что одна из главных причин фигуры умолчания, традиционно используемой мемуаристами и исследователями предшествующих советских десятилетий, коль скоро речь заходила о весне и лете 1921 года, — "подспудная борьба за возвращение Гумилева в литературу": "В этих условиях раскрывать обстоятельства ареста и казни Гумилева считалось тактически неверным"[20]. Но и после того, как книги Гумилева в юбилейном 1986 году были возвращены в российский легальный читательский обиход, "антибольшевистский мотив" в биографии поэта, вероятно, по инерции достаточно долго игнорировался в отечественном литературоведении. "…Споры о степени серьезности или выдуманности "дела" Таганцева производят грустное впечатление. Люди, казалось бы, не консервативных взглядов с прежним маниакальным упрямством исходят из догмы, что "хороший человек" Гумилев не мог ни в какой форме бороться с "хорошей" революцией, и поэтому надо во что бы то ни

стало… доказать, что он чист и не виновен перед властью большевиков"[21].

Между тем "Петроградская боевая организация, вошедшая в историю России как "таганцевский заговор", *вовсе не являлась ни провокационной структурой, созданной ВЧК, ни, тем более, следственной химерой, "выбитой" чекистами из случайных, невинно арестованных "фигурантов"*. И то, и другое действительно имело место в практике советской тайной полиции. Так, например, в 1923–1924 годах для окончательной ликвидации зарубежной террористической группы Б. В. Савинкова (операция "Синдикат-2") в СССР было создано бутафорское "подполье" т. н. "либеральных демократов", эмиссары которого заманили на советскую территорию как Савинкова, так и многоопытного английского разведчика С. Рейли[22]. Что же касается фабрикации доказательств следователями НКВД в годы "ежовщины", то эта тема ныне изобильно отражена не только в специальной, но и в массовой художественной литературе. Однако прямые аналоги с ПБО тут могут лишь запутать читателей.

Характерно, что история "таганцевского заговора" *сама по себе*, в отличие от истории самого знаменитого заговорщика — Гумилева, *никогда* не попадала в СССР под цензурный запрет. О ликвидации ПБО весной — летом 1921 года писали в разное время в совершенно "открытых" источниках (хотя и не часто и, разумеется, без излишней детализации) видные советские историки, резонно полагая, что факт *реальной* борьбы с террористическими группами в один из самых напряженных моментов Гражданской войны никак не может скомпрометировать советскую власть ни в глазах современников, ни в глазах потомков. И действительно, исторический фон, на котором развивались события, предопределившие трагическую развязку земного пути Гумилева, заслуживает хотя бы краткого специального экскурса.

25 апреля 1920 года, в ходе продолжающегося с 1919 года советско-польского конфликта, польская армия, поддержанная интернированными в Польше русскими Добровольческими частями, по приказу маршала Польши Ю. Пилсудского начала наступление на Волынь и Подолию с целью разгрома 12-й и 14-й армий Юго-Западного фронта. В мае — июле на Украине и в Белоруссии шли ожесточенные бои, в ходе которых Красная Армия сумела вытеснить противника на территорию Польши, освободив Киев и Минск, однако была остановлена на Висле, а затем разгромлена в результате блестяще проведенной Пилсудским Варшавско-Львовской операции.

Во время этой кампании на западе вновь сформированная в

Крыму Русская армия под командованием П. Н. Врангеля 6–7 июня осуществила прорыв и заняла Северную Таврию, намереваясь пойти на соединение с Пилсудским с юга. Вероятность успеха подтверждал и вспыхнувший в августе 1920 года крестьянский мятеж в Тамбовской и Воронежской губерниях, переросший в полномасштабную крестьянскую войну под руководством А. С. Антонова. Однако Пилсудский, удовлетворенный результатами летнего наступления, заключил перемирие с РСФСР и Украиной, которое было подписано в Риге 12 октября 1920 года. После этого оставшийся в одиночестве Врангель был разгромлен в октябре — ноябре силами Южного фронта под командованием М. В. Фрунзе. Единая партизанская армия Тамбовского края А. С. Антонова героически сражалась до мая 1921 года и была уничтожена войсками М. Н. Тухачевского в ходе грандиозной карательной операции с масштабным применением ядовитых газов и массовым взятием заложников (в концлагеря было заключено более 9 тысяч человек). Это были последние крупные сражения Гражданской войны в России.

Разумеется, что все эти месяцы с предельным напряжением работали и спецслужбы всех воюющих сторон — как "белой", так и "красной". Первую в конце 1920–1921 годов (время существования ПБО) представляли агенты сформированного П. Н. Врангелем в Париже "Союза освобождения России" (с 1924 года — "Российский общевоинский союз" (РОВС)), действовавшего автономного от него савинского конспиративного "Народного союза защиты родины и свободы" (НСЗРиС), центр которого находился в Варшаве, а также агентура внешних разведок Польши и ее союзниц — Великобритании и Франции. Таким образом, у советских чекистов начала 1920-х годов не было нужды в искусственном обострении внутренней ситуации в стране с помощью вымышленных вражеских подпольных структур: обстановка была и так напряжена до предела, и могущественные враги у РКП (б) в канун исторического X съезда (8—16 марта), провозгласившего НЭП, существовали отнюдь не на бумаге.

Кульминацией "тайной войны" в этот период российского гражданского противостояния стало восстание моряков Балтийского флота, действительно поставившее под угрозу коммунистический режим в РСФСР (в случае успеха балтийские моряки, закрепившись в Петрограде, могли соединиться с действующей на Тамбовщине "зеленой" армией Антонова и идти на Москву).

Волнения в Кронштадте, где царил зимой 1921 года настоящий голод, начались 28 февраля 1921 года. 1 марта экипаж броненосца "Петропавловск" принял резолюцию с требованием

переизбрания Советов ("Советы без коммунистов"), свободы слова и печати, реформы в распределении пайков и т. д. и выдворил из города прибывшего из Москвы председателя Центрального исполнительного комитета съезда Советов М. И. Калинина. После этого ЦК РКП (б) принял резолюцию о наличии в гарнизоне Кронштадта "контрреволюционного заговора". В ответ на это на следующий день, 2 марта моряки создали Временный революционный комитет во главе с писарем "Петропавловска" С. М. Петриченко и обратились к петроградским рабочим с воззванием "покончить с режимом комиссаров".

5 марта на побережье Финского залива были выдвинуты карательные части во главе с М. Н. Тухачевским, который 8 марта попытался штурмовать крепость по льду. Эта атака была отбита восставшими, использовавшими артиллерию вмерзших в лед кораблей на кронштадтском рейде. В Петрограде известие о провале Тухачевского вызвало волнения на заводах (т. н. "волынки"). На открывшемся в тот же день в Москве X съезде РКП(б) сообщение о кронштадтской неудаче вызвало настоящую панику: было принято постановление о направлении военнообязанных делегатов съезда на поддержку Тухачевского. События в Кронштадте повлияли на молниеносное принятие съездом решения о переходе от "военного коммунизма" к "новой экономической политике" (НЭП) и о проведении генеральной "чистки" партии.

16 марта X съезд завершил свою работу, а 17 марта Тухачевский начал второй штурм Кронштадта. После двухдневных ожесточенных боев 18 марта (в день возникновения в 1871 году Парижской коммуны, являвшийся в РСФСР государственным праздником) город был взят, и началась кровавая расправа с восставшими. Как уже говорилось, было расстреляно более 2000 человек, часть из них — на Ржевском полигоне. Тогда же в Петрограде и по всей России прокатилась первая волна массовых арестов эсеров, которые были признаны главной "политической базой" этого возмущения. Помимо того начались репрессии против военной, научной и творческой интеллигенции, сочувствовавшей восставшим. Вплоть до осени северо-западные районы РСФСР, включая Петроград, находились на особом положении, ибо со дня на день ожидалось вторжение белогвардейских формирований либо с территории Польши, либо из Прибалтики или Финляндии. "13 августа <1921 г.> в полномочное представительство ВЧК в Петроградском военном округе поступило распоряжение заместителя председателя ВЧК И. С. Уншлихта обеспечить мобилизацию коммунистов для усиления охраны Государственной границы на ближайшие две-

три недели. 16 августа президиум ВЧК принял решение усилить пограничные особые отделения и довести численность погранвойск до штатного состава, обеспечив их обмундированием, пайками и т. д. 24 августа председатели ЧК пограничных губерний получили экстренную шифровку за подписью начальников секретно-оперативного и административного отделов ВЧК В. Р. Менжинского и Г. Г. Ягоды. В ней сообщалось, что, по данным ВЧК, на 25–28—30 августа намечалось крупномасштабное вторжение вооруженных отрядов через западную границу Республики. Направленным из Финляндии и Эстонии группам надлежало захватить узловые железнодорожные станции на линии Петроград — Дно — Витебск. Отряды с территории Латвии 28–30 августа занимали Псков. Формирования полковника С. Э. Павловского наносили удар в треугольнике Полоцк — Витебск — Смоленск. Части Н. Махно 28 августа планировали войти в Киев <…> Руководство ВЧК приказало образовать в губерниях, уездах и на железнодорожных станциях "чрезвычайные тройки", скрытно мобилизовать бойцов особого назначения, установить связь с воинскими подразделениями, контроль за коммуникациями и т. д. Указанные меры были приняты. Но сроки прошли, массового вторжения контрреволюционных сил не последовало. Поступила новая директива ВЧК усиленную охрану ослабить, ибо ожидавшееся вторжение отложено на середину сентября за неподготовленностью"[23].

Все это следует учитывать тем современным биографам Гумилева, а также вузовским и школьным преподавателям, которые склонны видеть в ПБО несерьезную (а то и — "детскую") затею. История, как очень хочется надеяться, уже свершила свой "корректурный труд" в отношении событий без малого девяностолетней давности, и время для объективного и беспристрастного разговора явно настало. Поэтому, для того чтобы ясно представить себе обстоятельства гибели поэта, необходимо вместо общих сентиментальных сентенций сформулировать ясный ответ на три вопроса:

1. Что представлял собой тот заговор, который вошел в историю под условным названием "таганцевского"?

2. В чем заключалось участие в нем Гумилева?

3. Какова специфика юридического осмысления этой деятельности поэта — как в исторической ситуации начала 20-х годов, так и с современной точки зрения?

II

Прежде всего, как нам кажется, следует иметь в виду ту версию истории "Петроградской боевой организации", которая была представлена в советских источниках. Безусловно, критическое отношение к ним необходимо (как, впрочем, и к любым источникам исторического исследования), но видеть тут сплошной заведомый вымысел, как уже говорилось, явно неразумно.

Повторим: в отличие, например, от расстрелов заложников в первые месяцы "красного террора" или от жуткой эпопеи "расказачивания" борьба с вражеской агентурой являлась основной функцией органов советской контрразведки, как и контрразведки любой европейской страны. Сама по себе такая борьба скомпрометировать ВЧК не могла. Захват заложников (а тем более их казнь!) был запрещен международной Гаагской конвенцией 1907 года и объявлен тягчайшим военным преступлением. Приказ Л. Д. Троцкого о физическом уничтожении казачества вполне мог быть интерпретирован как проявление геноцида — опять-таки с соответствующей оценкой на международном уровне. Та же кронштадтская эпопея завершилась массовым расстрелом военнопленных, т. е. в глазах мирового сообщества — очевидным военным преступлением. Поэтому в СССР уже в 1930-е годы темы эти были под запретом, в массовые издания не попадали и даже в "закрытой" исторической литературе, издаваемой ограниченными тиражами "для служебного пользования", освещались крайне скупо. *Но историю агентурной борьбы, тем более — победоносной, в эпоху Гражданской войны советским чекистам не было нужды скрывать или заведомо фальсифицировать*. Что же касается фигур умолчания и авторской расстановки акцентов, то для рассказа о деятельности контрразведки они являются обязательными не только в условиях тоталитарной цензуры. Таким образом, сведения о ПБО в работах историков ВЧК, изданных в СССР, заслуживают если не доверия, то, по крайней мере, самого пристального внимания.

О ликвидации ПБО подробно рассказывается в фундаментальной работе Д. Н. Голинкова "Крушение антисоветского подполья в СССР". Поскольку, как это ни странно, книга Голинкова почти никак не востребована биографами Гумилева, нельзя избежать пространного цитирования. "В июне 1921 г., — пишет Д. Н. Голинков, — Петроградская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией напала на

след подпольной группы бывших участников кронштадтского мятежа. <…> руководителем группы, носившей название "Объединенная организация кронштадтских моряков", оказался бывший матрос линейного корабля "Петропавловск" М. Л. Комаров, исполнявший во время мятежа обязанности коменданта кронштадтского "временного ревкома". На его квартире обосновался штаб заговорщиков. Здесь чекисты нашли динамит, документы, печать, штамп, бланки и типографский станок, на котором печатались антисоветские прокламации.

Как выяснилось, Комаров с группой участников кронштадтского мятежа пробрался нелегально в Петроград из Финляндии по заданию председателя контрреволюционного кронштадтского "временного ревкома" С. М. Петриченко для подпольной антисоветской работы. Заговорщики вербовали сторонников, создавали подпольные ячейки в городских районах и ставили во главе их своих доверенных людей. <…> Все эти "активисты", бывшие участники кронштадтского мятежа, вернувшиеся из Финляндии, получали от организации ежемесячное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей (советскими денежными знаками того времени).

Далее чекисты установили, что "Объединенная организация кронштадтских моряков" является частью другой, более крупной "Петроградской боевой организации" (ПБО), во главе которой стоял профессор В. Н. Таганцев, член ликвидированного в свое время "Национального центра". Таганцев долго и упорно отказывался дать объяснения, скрывал правду. В конце июля от него все же удалось получить нужные сведения. Стало известно, что "Петроградскую боевую организацию" возглавляет комитет, в который входили В. Н. Таганцев, бывший полковник артиллерии В. Г. Шведов и бывший офицер, агент финской разведки Ю. П. Герман. Эта организация, созданная еще до Кронштадтского мятежа, придерживалась кадетского направления и включала кроме "Объединенной организации кронштадтских моряков" еще две группы — профессорскую и офицерскую.

В профессорскую группу входили известный финансист князь Д. И. Шаховской, ректор Петроградского университета, бывший царский сенатор профессор Н. И. Лазаревский, бывший царский министр юстиции С. С. Манухин, профессор М. М. Тихвинский и другие. Группа эта идейно направляла работу всей организации и разрабатывала проекты государственного и хозяйственного переустройства России, полагая, что свержение Советского правительства — вопрос лишь времени. <…> Разработанные проекты и планы отсылались в заграничный центр организации, в

Париж… <…>

Офицерскую группу возглавлял сподвижник Юденича подполковник П. П. Иванов. Группа разработала план вооруженного восстания в Петрограде и области. Его предполагалось начать одновременно в Петрограде, Рыбинске, Старой Руссе, Бологом и на станции Дно и таким образом отрезать Петроград от Москвы. Петроград был разбит на районы, и в каждом из них во главе мятежа поставлен опытный офицер.

Кадет Таганцев вынашивал идею создания "массовой базы", на которую могла бы опираться ПБО, и искал связей с антисоветскими группами, действовавшими среди рабочих. <… > В поисках связей с "демократическими" элементами Таганцев вошел в контакт с группой так называемых "уполномоченных собрания представителей фабрик и заводов г. Петрограда", созданной по меньшевистским рецептам. <…> "Петроградская боевая организация" помогала группе "уполномоченных собрания представителей фабрик и заводов" издавать за границей антисоветские прокламации, которые затем распространялись на предприятиях Петрограда. <…>

Попытки ПБО вовлечь в свои ряды трудящихся закончились провалом. Не помог и контакт с группой "уполномоченных фабрик и заводов" — она сама не была связана с массами трудящихся. Мечты Таганцева о "массовой базе" не сбылись. В мае 1921 года Таганцев начал переговоры с находившимся в Финляндии кронштадтским "временным ревкомом", главари которого <…> просто-напросто торговали участниками кронштадтского мятежа, интернированными в Финляндии, и направляли их по договоренности с разными антисоветскими группами для подпольной работы в Россию. По соглашению между ПБО и "временным ревкомом" в Петроград приехали несколько моряков во главе с Комаровым, "работу" которых оплачивала ПБО. Эта группа, образовавшая "Объединенную организацию кронштадтских моряков", заменила собой "массовую базу" организации, на нее и возлагали надежды главари заговора.

"Объединенная организация кронштадтских моряков" занялась вербовкой сторонников и подготовкой террористических актов и диверсий. Террористической деятельностью организации руководил матрос В. И. Орловский <…> Этот шпион, служивший финской и американской разведкам, приобрел гранаты, динамит; его разбойничья группа взорвала в Петрограде памятник В. Володарскому, подожгла трибуны в день первомайского праздника; она готовила взрывы предприятий, террористические акты против деятелей большевистской партии и налет на поезд, в котором перевозились государственные

ценности.

Из центра "Петроградской боевой организации", созданного за границей, были получены десятки миллионов рублей. <…>

Арест Таганцева, гибель шпиона Германа, убитого при незаконном переходе границы, внесли замешательство в ряды заговорщиков. В это время произошла смена зарубежного руководства ПБО. На съезде правых белоэмигрантских группировок в Париже состоялось их объединение под руководством бежавшего из России с остатками своих войск барона Врангеля, который стал руководителем "Союза освобождения России". Финансирование этой монархистской организации взял на себя Торгово-промышленный комитет. Один из главарей ПБО — Шведов — <…> получил задание выехать в Петроград для активизации работы ПБО и объединения всех правых группировок. Одновременно в Петроград был послан и резидент "Союза освобождения России" лейтенант П. В. Лебедев. Но надежды заговорщиков, связанные с выездом в Петроград Лебедева и Шведова, не оправдались. ВЧК удалось напасть на их след. <…> Общее количество арестованных по делу ПБО составляло свыше 200 человек. По постановлению Петроградской чрезвычайной комиссии от 29 августа 1921 года наиболее опасные из них, в том числе Таганцев, Шведов, Лебедев, Орловский, были расстреляны, остальные приговорены к различным срокам лишения свободы"[24].

III

В описании Д. Н. Голинкова сразу же бросается в глаза очевидная *неоднородность* состава ПБО. "Объединенная организация кронштадтских моряков" и "офицерская группа" представляют собой *типичные диверсионные группы, структура и методы деятельности которых вполне узнаваемы*. "По признанию арестованного Орловского и др<угих арестованных", — отчитывались петроградские чекисты летом 1921 года, сразу после раскрытия ПБО, — ими были взорваны памятник Володарскому пироксилиновой шашкой и организован ряд покушений на советских вождей. В показаниях от 1 июля с. г. тот же Орловский говорит: "Действительно, я вместе с Никитиным, Перминым, Модестовичем (Черным), Федоровым хотели устроить налет на поезд Красина и забрать все золото и ценности…". По показанию Комарова, организацией подготовлялись взрывы нобелевских складов, взрыв одного памятника на Васильевском острове, поджог 1-го государственного лесозаготовительного завода (бывший <завод> Громова) и убийство бывшего комиссара Балт-флота т. Кузьмина"[25]. В книге Д. Н. Голинкова описывается сеть явочных квартир в Петрограде (хозяйками их были преимущественно женщины, расстрелянные в той же группе, что и Гумилев), где изымались оружие, динамит и агитационная литература, дается характеристика системы агентуры ПБО, указываются ее каналы связи с заграничными центрами. Все участники "кронштадтской" и "офицерской" групп ПБО дорого продавали свою свободу, резонно полагая, что терять им нечего: "резидент "Союза освобождения России" лейтенант П. В. Лебедев при аресте застрелил чекиста, "курьер американской разведки Старк" застрелил двух чекистов и скрылся[26].

Однако наряду с кронштадтскими моряками и военными ПБО, как мы помним, включали в себя и "профессорскую группу" — и именно это придает всей ее истории уникальный характер. И, подчеркнем особо, дело здесь не только в мировой известности этих "фигурантов". В отсутствие "профессорской группы" (В. Н. Таганцева, Д. И. Шаховского, Н. И. Лазаревского, С. С. Манухина, М. М. Тихвинского, К. Д. Туманова, С. А. Ухтомского, В. М. Козловского, Н. С. Гумилева) "дело ПБО" явилось бы не более чем эпизодом Гражданской войны в России. Эпизодом трагическим, кровавым, но вполне закономерным в том историческом контексте. Конечно, можно (и нужно!) возмущаться отвратительной жестокостью чекистов (по свидетельству В. И. Немировича-Данченко, "о тех истязаниях и муках, которым

подвергали обреченных агенты чрезвычайки передавали летом 1921 года "нечто невероятное"[27]), *но по существу* их деятельность в качестве сотрудников советской контрразведки по нейтрализации *вооруженного подполья* вполне оправданна. Законы военного противостояния известны, и вряд ли можно было бы ожидать от Ю. П. Германа и В. Г. Шведова, увенчайся заговор в Петрограде успехом, чудес всепрощения по отношению к шпионам и диверсантам противной стороны…

Однако деятельность участников "профессорской группы" в ПБО — так, как она представлена в официальных советских источниках, — оказывается, мягко говоря, странной, особенно на фоне акций, за которые **получали те же смертные приговоры** их "сподвижники"-террористы. *"Группа эта <…>, — пишет Д. Л. Голинков, — разрабатывала проекты государственного и хозяйственного переустройства России, полагая, что свержение Советского правительства — вопрос лишь времени* (курсив мой. — Ю.З.). Лазаревский, например, подготовил проекты переустройства местного самоуправления, денежной реформы, план восстановления кредита. Профессор Тихвинский, связанный со старыми служащими нефтяных предприятий Нобеля, собирал сведения о состоянии нефтяной промышленности страны"[28]. Очевидно, что составление каких бы то ни было "проектов государственного и хозяйственного переустройства России" никак не может быть признано преступным деянием, конгениальным попытке вооруженного "свержения Советского правительства"!

Между тем в "таганцевском деле" *именно это и произошло*, причем некоторые из осужденных не занимались даже "проектами". "Вина большинства расстрелянных характеризовалась такими выражениями, как "присутствовал", "переписывал", "знала", "разносила письма", "дал согласие", "обещал, но отказался исключительно из-за малой оплаты". Или даже так: "доставлял организации для передачи за границу сведения о музейном деле и доклад о том же для напечатания в белой прессе" (князь С. А. Ухтомский, скульптор, сотрудник Русского музея)…"[29]. Здесь уместно сопоставить фигуры Ю. П. Германа и В. Г. Шведова с В. Н. Таганцевым. Как мы помним именно эти три человека были названы руководителями ПБО.

Двое первых — кадровые офицеры, имевшие большой военный опыт и опыт подпольной работы (поэт Г. В. Иванов, бывший однокашником Ю. П. Германа по Петербургскому кадетскому корпусу и встречавшийся с ним в послереволюционном Петрограде, характеризует его как человека "ледяного хладнокровия и головокружительной храбрости", убежденного антикоммуниста и профессионального

конспиратора[30]). И тот, и другой при задержании оказали отчаянное сопротивление и живыми так и не сдались: Ю. П. Герман погиб при переходе финской границы 30 мая 1921 года (в перестрелке было убито и ранено более десятка чекистов), а В. Г. Шведов — смертельно ранен при штурме явочной квартиры 3 августа 1921 года, уложив перед этим двоих нападавших[31].

Владимир Николаевич Таганцев (1886–1921), сын известного юриста, сенатора Н. С. Таганцева, был приват-доцентом Петроградского университета. Специальностью его была география (можно предположить, что на этой почве и состоялось его знакомство с Гумилевым; впрочем, никаких документальных свидетельств о подробностях личных отношений между ними нет). Таганцев принадлежал к кадетской партии, однако собственно политическая борьба (а тем более — борьба подпольная, конспиративная) была для него совершенно "чуждой стихией". В 1919 году, во время осады Петрограда войсками Юденича, Таганцев имел какие-то контакты с кем-то из членов "Национального центра", мощной антибольшевистской подпольной террористической организации (на ее счету был, например, знаменитый взрыв в помещении Московского комитета РКП(б) в Леонтьевском переулке), но эти контакты "ограничивались разговорами вроде того, что же именно предстоит сделать, когда большевики сбегут из Петербурга"[32]. "Взгляды Таганцева, — пишет В. Крейд, — основывались на вере в интеллигенцию как силу, которая способна путем медленной целенаправленной деятельности сбросить ярмо большевизма. Если у Таганцева и был план, то состоял он не в создании боевой организации, в чем его обвиняли, а в медленной систематической работе над народной психологией. По свидетельству петроградского профессора Н. С. Тимашева, Таганцев предполагал действовать в рамках советского закона, в чем он был последователем и учеником своего отца, убежденного законника (профессор петербургского университета, сенатор Николай Степанович Таганцев был одним из столпов дореволюционной русской юриспруденции. — Ю.З.). По мысли младшего Таганцева, сама незаконность советских законов должна неизбежно привести к упразднению иррациональных форм власти"[33]. Все собранные В. Крейдом материалы рисуют В. Н. Таганцева "прекраснодушным мечтателем", чем-то вроде тургеневского Рудина, "способного произносить зажигательные речи в частной беседе и удовлетворяющего разговором как суррогатом действия"[34].

Таганцев стал конфидентом Ю. П. Германа (разумеется, по

инициативе последнего) осенью 1920 года. Очевидно, главную роль здесь сыграл прошлогодний эпизод с "Национальным центром": в антикоммунистических кругах Таганцев слыл "сочувствующим". Теперь речь шла о некой конспиративной структуре в среде научной и творческой интеллигенции, собирающейся в Доме литераторов, завсегдатаем которого был и Владимир Николаевич. Однако, к разочарованию Голубя (подпольная кличка Германа) и его товарищей, к чисто практической работе Таганцев оказался неспособен. Кабинетный ученый с расплывчатыми и нецельными политическими убеждениями, плохо разбирающийся в людях и не имевший никаких навыков конспирации, он мыслил свою "организацию" чисто теоретически. "О заговоре Таганцева, — вспоминала И. В. Одоевцева, — при всей их наивной идеалистической конспирации — знали (так же, как когда-то о заговоре декабристов) очень и очень многие. Сам Таганцев (как, впрочем, и Гумилев) был прекраснодушен и по природе не заговорщик. <… > Я даже знаю, как там все было устроено: у них были ячейки по восемь человек, и Гумилев стоял во главе одной из таких ячеек"[35].

Герман не питал иллюзий относительно дееспособности "профессорской группы" (особенно после того, как узнал, что Таганцев принимает его курьеров у себя на квартире и дает конспиративные поручения… обслуживающему персоналу Дома литераторов). Задействована эта группа была один раз (и то не полностью), в самый критический момент кронштадтской эпопеи, когда любое антибольшевистское "лыко" было "в строку": "профессоров" (и, в частности, Гумилева) пытались использовать для агитационной работы.

Сам В. Н. Таганцев, потерпев в "кронштадтские дни", как уже говорилось выше, неудачу в переговорах с уполномоченными "собрания представителей фабрик и заводов", вел себя после катастрофы в Кронштадте более чем странно для руководителя подпольной боевой организации, находящейся на грани провала. "В мае, за несколько дней до ареста, — писал Н. С. Тимашев, — несмотря на недавнюю ликвидацию крондштадтского восстания, В. Н. Таганцев был в самом бодром настроении. Он указывал на ряд симптомов пробуждения народного, пробуждения не только городского пролетариата, которое было очевидно для каждого петроградского обывателя, но и крестьянских масс, понявших наконец всю безысходность положения, созданного большевиками, и не удовлетворяющихся подачкой в виде замены разверстки натуральным налогом"[36]. Похоже, Таганцев либо не понимал, какая ответственность (во всех смыслах) ложится на

него в качестве шефа петроградского террористического подполья (но это уже "слишком" даже для прекраснодушного идеалиста), *либо "шефом" подпольщиков себя вовсе и не считал*.

Последнее кажется самым вероятным. Ведь собственно ПБО создавал осенью — зимой 1920 года в Петрограде Ю. П. Герман, на подмогу которому в начале 1921 года был откомандирован из Парижа В. Г. Шведов. Они и были реальными руководителями, представлявшими себе всю конспиративную структуру организации, ее задачи и цели. Таганцев же, наряду с П. П. Ивановым и В. И. Орловским, *являлся руководителем одного из подразделений ПБО*, т. е. "работником среднего звена", по существу — посредником между Германом и Шведовым, с одной стороны, и участниками "профессорской группы" — с другой. Но, как уже говорилось, "профессорская группа" мало напоминала группу "кронштадтцев" Орловского или "офицерскую группу" Иванова с их конспиративными арсеналами, боевиками, явками и т. п. Все участники "профессорской группы" были представителями фрондирующей интеллигенции и обсуждали "планы переустройства России" в гостиной Таганцевых или в столовой Дома литераторов еще до возникновения ПБО. Ни о каком "подполье" тут речи не было, да и для подпольной работы ни Лазаревский, ни Ухтомский, ни Гумилев не подходили никак — в городе их знала каждая собака (в том числе и чекистская). Они были настолько заметны, что любая инициатива в этой области (например, появление на конспиративной квартире) могла лишь помешать агентам Иванова и Орловского, без нужды их "засветить".

Чем руководствовался Герман, давая Таганцеву поручение создать "профессорскую группу", — понятно. Разумеется, основное внимание Голубя было сосредоточено на активной подпольной борьбе, но и о *возможной перспективе легализации* (в случае успеха заговора) он, как всякий талантливый политик, не забывал. Имея уже сейчас единомышленников и сочувствующих в кругах научной и творческой элиты, можно было с большей уверенностью смотреть в завтрашний день. Вряд ли Герман или Шведов нуждались весной 1921 года в услугах ректора Петроградского университета Лазаревского при минировании первомайских трибун: для этой цели куда больше подходил незаметный морячок, имеющий навыки обращения с динамитными шашками. От Лазаревского, равно как и от других участников "профессорской группы", требовалось лишь сугубо пассивное ожидание грядущего успеха офицеров и "кронштадтцев" в качестве их "мысленных сподвижников". Приведенная выше формула "расстрельного списка" — **"дал**

согласие" — точно отражает специфику задачи, поставленной перед В. Н. Таганцевым. Все завербованные им в ПБО интеллектуалы действительно "дали согласие" поддержать Таганцева в случае каких-либо *будущих* "событий". В событиях *настоящих* применения для "профессорской группы" подпольный штаб ПБО не находил и найти не мог.

По всей вероятности, этим и объясняется беззаботное поведение Таганцева в мае 1921 года Конечно, он, общаясь непосредственно с Германом и Шведовым, обладал большей осведомленностью о деятельности ПБО, чем его "подопечные", но и только. Сложно себе представить, что для осуществления столь несложной миссии среди петроградской интеллигенции руководители подпольного штаба посвятили Владимира Николаевича во все подробности своих конспиративных планов до боевых операций включительно. А на том "участке работы", который был известен Таганцеву, *никаких* активных действий *никогда*, даже в самый разгар событий в Кронштадте, не осуществлялось…

IV

В. Н. Таганцев был арестован 5 июня 1921 года, причем поводом для ареста стала не его деятельность в ПБО, а давний уже теперь эпизод с "Национальным центром". Тогда, в 1919 году, во время повальных репрессий против "классово чуждых" ("красный террор" был в это время в самом разгаре) Владимир Николаевич ареста счастливо избежал, но, очевидно, остался у чекистов на подозрении. "…Таганцева погубила какая-то крупная сумма денег, хранившаяся у него. Возможно, при разгроме Национального центра кто-то из членов этой неудачливой организации передал деньги на хранение В. Таганцеву. При этом его кандидатура была выбрана потому, что Таганцев фактически не был замешан в деятельность Национального центра. Нашли деньги не сразу, хотя в связи с прокатившейся в Петрограде в начале 1921 года волной забастовок и восставшим в марте Кронштадтом начались повальные обыски. Чекисты с помощью двадцати тысяч петроградских рабочих ходили от двери к двери во всех районах города главным образом в поисках оружия. Был обыск и у Таганцева"[37]. По делу о деньгах "Национального центра" Таганцев получил **два года** исправительных работ.

Однако, как уже говорилось выше, в ходе разгрома "Объединенной организации кронштадтских моряков", после арестов М. А. Комарова и В. И. Орловского, "дело Таганцева" было возвращено на доследование. В докладе ВЧК от 24 июля 1921 года он уже фигурирует как "главарь заговора", инспирированного парижским "Союзом освобождения России". О ПБО пока речи нет, равно как ничего не говорится о "профессорской группе". Состав участников заговора: бывшие офицеры, моряки, адвокаты, бывшие директора, пробравшиеся на видные посты в советские учреждения"[38]. После этого доклада события вокруг "дела Таганцева" начинают развиваться в новом направлении.

Здесь нужно вспомнить, **что с 30 мая 1921 года расследование "петроградского заговора" находилось под контролем представителя Москвы, "особоуполномоченного особого отдела ВЧК" Я. С. Агранова**[39]. Яков Саулович (в других источниках — Савлович) Агранов (1893–1938 (?)) был одной из самых ярких фигур в чекистских кругах тех лет. В отличие от рядовых сотрудников государственной безопасности, занятых решением тактических задач, это был стратег и аналитик, посвященный в самые сокровенные тайны политики Кремля и внутрипартийной борьбы. О жизненном пути этого

удивительного человека надо сказать подробнее.

Агранов был выходцем из гомельской местечковой еврейской семьи. В 1912 году он вступает в партию социалистов-революционеров и становится профессиональным революционером-подпольщиком. В 1915-м — переходит в РСДРП(б). За время подпольной работы Агранов подвергался аресту и ссылке, из которой бежал. По некоторым данным, он был художественно и музыкально одарен, очень начитан и обладал необыкновенным личным обаянием. С другой стороны, даже среди сподвижников-коммунистов Агранов имел репутацию "определенного негодяя по убеждениям, которому не следует подавать руки"[40]. С ноября 1917 года Агранов работает в секретариате Совнаркома, в 1918–1920 годах является секретарем Малого Совнаркома, т. е. поднимается на высшие ступени советской правительственной и партийной номенклатуры (здесь уместно напомнить, что в 1918 году ему едва исполняется двадцать пять лет!).

С мая 1919 года с работой в Малом Совнаркоме Агранов совмещал работу в органах госбезопасности РСФСР, выполняя в качестве особого уполномоченного при президиуме ВЧК (т. е. в качестве личного представителя Ф. Э. Дзержинского) самые ответственные задания: он участвовал в подавлении восстания левых эсеров, ликвидации тамбовского и кронштадтского восстаний, разгроме савинковского подполья. **В январе 1920 года** (эту дату следует запомнить!) Агранова окончательно переводят из структур Совнаркома в структуры политической полиции. Это, разумеется, не понижение, ибо он становится особоуполномоченным особого отдела (ОО) ВЧК (для пояснения — во всей тогдашней чекистской номенклатуре, помимо Агранова, таковыми были всего *три* человека — В. Р. Менжинский, А. К. Артузов и К. И. Ландер; в этой "великолепной четверке" Агранов — самый молодой). Как особоуполномоченный ОО ВЧК он и приезжает в Петроград[41].

Во время своего пребывания в Петрограде Агранов подчинялся не председателю Петрогубчека (эту должность занимал тогда ставленник Г. Е. Зиновьева Б. А. Семенов) и даже не самому Зиновьеву, а непосредственно заместителю председателя ВЧК И. С. Уншлихту. Разумеется, интересы Агранова (и его полномочия) далеко не ограничивались собственно проблемами ликвидации непосредственной угрозы антисоветского переворота в Петрограде, — представить себе, что работник **такого** уровня был командирован для помощи питерским оперативникам, по меньшей мере, наивно.

Специализацией Агранова была работа с интеллигенцией.

В течение всего июня и начала июля 1921 года, когда шла непосредственная работа петроградских чекистов по разгрому заговорщиков, Агранов остается в тени, однако, когда главные боевые силы ПБО были нейтрализованы, а полученные показания неопровержимо доказывали наличие активного антисоветского террористического подполья в Петрограде (о чем и было сообщено в докладе ВЧК от 24 июля), он развивает бурную деятельность по **отработке связей раскрытой организации с научной и творческой интеллектуальной элитой**.

Местных чекистов, занятых вопросами, как они полагали, первоочередными — ведь со дня на день в Петрограде можно было ожидать вспышки терроризма[42], — В. Н. Таганцев, имя которого прозвучало в показаниях некоторых боевиков, интересовал мало. Он действительно *"знал" и "присутствовал"* (вспомним опять-таки "расстрельный список"), но непосредственно в деятельности боевых групп участия не принимал и к тому же уже содержался под стражей. Что же касается его связей в научных и творческих кругах, то ожидать террористической угрозы от "профессуры" не приходилось и подавно. Вникать же в суть проектов оптимизации законодательной базы России, использования ее нефтяных запасов и реформ музейного дела сотрудникам ПетроЧК, штурмующим (с большими потерями в личном составе) конспиративные склады оружия и динамита, было недосуг.

Но Москва уже тогда мыслила иначе, чем Петроград! К удивлению питерцев, прибывший из столицы "особоуполномоченный", ознакомившись с их разработками по делу "Областного комитета Союза освобождения России" (первоначальное название ПБО), выделил именно это, абсолютно тупиковое "профессорское" направление, вернул благополучно осужденного на два года исправработ В. Н. Таганцева и начал активно "работать" с ним.

Речь на этих допросах, разумеется, шла не о террористическом подполье — об этом аспекте деятельности ПБО в июле 1921 года Агранов, надо полагать, знал гораздо больше, чем Таганцев. Нет! Агранов предложил своему подследственному ни много ни мало как проект социального мира в России. *Речь шла об организации грандиозного открытого политического процесса*, с привлечением всех отечественных и зарубежных средств массовой информации, международных экспертов и первых лиц Совета Народных Комиссаров, ВЦИК и РКП(б). Явившись на этот процесс, участники "профессорской группы" ПБО под водительством В. Н. Таганцева смогут, с одной стороны, высказать все накопившиеся у них за годы "военного коммунизма"

претензии к советской власти — не только от своего лица, но от лица всей русской интеллигенции, пребывающей как на территории Республики, так и в эмиграции. С другой стороны, все они открыто и добровольно смогут принести покаяние за свое участие в контрреволюционном подполье, а повинную голову, как известно, меч не сечет. Развивая перед ошеломленным Владимиром Николаевичем эти ослепительные перспективы, Агранов, вероятно, имел сведения, что *нечто подобное Таганцев в первой половине фантасмагорического 1921 года уже обсуждал в своем кругу*. "Идея Таганцева, — свидетельствует коллега и учитель Владимира Николаевича академик В. И. Вернадский, — заключалась… в том, что надо прекратить междоусобную войну, и тогда В.Н. готов объявить все, что ему известно, а ГПУ дает обещание, что никаких репрессий не будут делать"[43].

V

Для того, чтобы понять, насколько идея "социального мира" была популярна весной — летом 1921 года в российских интеллектуальных кругах, нужно вспомнить меткое замечание писателя и мемуариста Р. Б. Гуля — *"большинство русской интеллигенции восприняло ленинский Октябрь, измеряя его "французским термометром"*…"[44]. Это означало, что для выпускников российских гимназий и университетов события Великой французской революции казались чем-то вроде исторического прецедента по отношению к свершающейся революции русской. С этой точки зрения, "красный террор", подобно террору якобинцев, оказывался печальной, но исторически неизбежной стадией раннего революционного экстремизма. Однако всех утешало то, что недолгая кровавая эпоха якобинского террора завершилась во Франции 9 термидора (27 июля) 1794 года падением диктатуры Максимилиана Робеспьера, созданием Директорий и восстановлением гражданских прав.

Согласно логике исторических аналогий, ожесточение первых лет русской революции также должно было в скором времени уступить место эпохе национального согласия и возрождения русской цивилизации, когда экстремисты в Кремле будут вытеснены трезвыми, здравомыслящими политиками-патриотами (будут ли те продолжать называть себя "большевиками", "коммунистами" или найдут другое историческое имя — не так уж важно). Тогда будут забыты старые счеты и обиды, и те, кто раньше стоял по разные стороны баррикад, вновь объединятся в служении единому Отечеству.

Как уже говорилось, "новая экономическая политика" (НЭП), отменяющая "военный коммунизм", была провозглашена на X съезде РКП(б), проходившем в Москве 8—16 марта 1921 года, под грохот осадных орудий на побережье Финского залива. Выполняя решения съезда, ВЦИК 21 марта принял декрет "*О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом",* в котором отменялась государственная конфискация продовольственных и сырьевых излишков у населения, а распределительная система пайков частично уступала место рыночным отношениям.

И в РСФСР, и за рубежом многие поспешили принять этот декрет за манифест свободы торговли в России, знаменующий отказ ленинского Совнаркома от утопических коммунистических теорий и возврат страны в мировую экономическую систему.

Легко представить себе, что творилось в душе всех этих высоколобых знатоков истории, когда сразу за кронштадтским апокалипсисом вдруг разнеслась благая весть: НЭП! *Ведь любое известие, приходившее из Кремля, воспринималось ими прежде всего как повод для размышлений об "эволюции большевизма" и о том, близок ли к завершению "якобинский" период русской революции*. Естественно, что введение НЭПа было встречено подавляющим большинством русских интеллигентов как в Советской, так и в Зарубежной России ликованием и *окончательно уверило их в реальности "советского термидора"*. И перед русской интеллигенцией вновь встал вековечный больной вопрос: *"Что делать?"*.

К лету 1921 года инспирированная НЭПом концепция "социального примирения" уже оформилась в интеллигентской среде как оригинальная идейно-политическая стратегия, причем застрельщиками здесь оказались эмигранты, многие из которых, в отличие от Таганцева и его "профессорской группы", имели не "умственный", а вполне реальный политический и военный опыт борьбы с большевиками. Богатый материал для бесед с Таганцевым Агранов мог почерпнуть в сборнике статей "Смена вех", который вышел в *том же июле 1921 года* в Праге (и, разумеется, тут же оказался настольной книгой стратегов из ВЧК). Авторами сборника были Ю. В. Ключников, Н. В. Устрялов (в недалеком прошлом первый служил управляющим Министерством иностранных дел, а второй — главой Отдела пропаганды в правительстве А. В. Колчака), С. С. Лукьянов, А. В. Бобрищев-Пушкин, С. С. Чахонин и Ю. Н. Потехин. Основная идея сборника заключалась в том, что *под покровам коммунистической идеологии слагается новая буржуазная демократическая Россия,* центральной фигурой которой становится получивший в результате революции землю "крепкий мужик" (Н. В. Устрялов). Об этом, по мнению авторов сборника, наглядно свидетельствует новая экономическая политика большевиков, которую "сменовеховцы" считали необратимой и которая должна была превратить самих большевиков в демократическую парламентскую правящую партию европейского образца.

Впрочем, если даже Яков Саулович не успел, начиная допросы Таганцева, ознакомиться с самим сборником "Смена вех", то *его знакомство со "сменовеховской" идеологией весной — летом 1921 года сомнений не вызывает*. Осведомленный "особоуполномоченный особого отдела", обязанный по долгу службы быть в курсе настроений в среде идейных противников, не мог не знать, например, о существовании в "русском Берлине"

группы "Мир и труд", организованной бывшим лидером Трудовой народно-социалистической партии В. Б. Станкевичем. Эта группа выступила **еще в июне 1920 года** на страницах издаваемого Станкевичем журнала "Жизнь" с воззванием, декларирующим *необходимость "культурного примиренчества" образованных русских людей с большевиками.* "Группа "Мир и труд" провозглашала веру в "неотвратимость конечной победы идей человечности и практичности" <…> Группа "Мир и труд" апеллировала к советским властям с тезисом, что обеспечение политических свобод и гражданских прав, прекращение террора укрепил бы саму государственную власть <…> Надежды возлагались на мирную эволюцию большевизма"[45]. Сам Станкевич в программной статье "Под новым лозунгом" писал в том же 1920 году: "Ни к красным, ни к белым!", "Ни с Лениным, ни с Врангелем!" — так звучат лозунги русской новой демократии. <…> А зачем выбирать? <…> Что, если рискнуть и вместо "ни к красным, ни к белым" поставить смелое, гордое и доверчивое:

И к красным, и к белым!

И принять сразу и Врангеля, и Брусилова, и Кривошеина, и Ленина"[46].

Возможно, Владимир Николаевич Таганцев, который до сих пор остается в памяти петербургской интеллигенции одной из самых печальных и "больных" фигур в трагической российской истории XX века, подвергался в июле 1921 года жесткому моральному (а может, и физическому) давлению. Он был вдвойне уязвим, поскольку вместе с ним содержалась в заключении его жена, а их дети, отданные в воспитательное учреждение, оказывались фактически в положении заложников. *Однако главным аргументом Агранова были не костоломы со Шпалерной и не дешевый шантаж*. В своем поединке с Таганцевым Агранов виртуозно использовал идеологию противника, ошеломлял его тем, что с видимым простодушием излагал самые сокровенные мысли тяготившегося своим провалом "заговорщика". И, главное, Агранов предлагал превратить этот позорный провал ПБО в блистательную победу, организовав вместе с "профессорской группой" нечто вроде советского варианта "сменовеховства". Ведь авторы пражского сборника как раз и звали интеллигенцию к покаянной жертве, к духовному подвигу, к "пути в Каноссу" (С. С. Чахонин). *Вот Агранов и предлагал Таганцеву такую "Каноссу", перед которой меркли все прочие интеллигентские политические хитросплетения той поры!*

И Таганцев дрогнул. По словам И. В. Одоевцевой, идея "открытого процесса с легким исходом" воодушевила Владимира

Николаевича настолько, что он "сам ездил в автомобиле с чекистами по городу и показывал им, кто где живет"[47]. К чести Владимира Николаевича следует отметить, что, соглашаясь сотрудничать с Аграновым, он потребовал весомых политических и правовых гарантий, которые и были тут же ему предоставлены.

В политической добросовестности Агранова Таганцева заверил не кто иной, как Вячеслав Рудольфович Менжинский (1874–1939), нарком финансов РСФСР и член Президиума ВЧК (в 1926 году он займет место председателя ОГПУ). Кстати, пишущий эти строки, представляя себе энергию и возможности Агранова, ни на секунду не сомневается, что в интересах дела Яков Саулович мог в кратчайшие сроки организовать Таганцеву личную встречу и с самим Железным Феликсом и даже — с Ильичом. Однако при выборе Менжинского в качестве представителя "верхов" Агранов учитывал весьма важный в сложившихся обстоятельствах штрих в биографии чекиста-наркомфина. Как и Таганцев, Вячеслав Рудольфович был петербуржцем (его отец занимал видную должность в Пажеском корпусе), универсантом и… достаточно заметным литератором "среднего" Серебряного века[48]. В 1905 году он, вместе с М. А. Кузминым и Ю. Н. Верховским, издал "Зеленый сборник стихов и прозы", в котором поместил свой "Роман Демидова". Двумя годами позже он вновь выступил вместе с Кузминым и другими литераторами "Башни" Вяч. И. Иванова в альманахе П. С. Соловьевой (популярной поэтессы Allegro и сестры знаменитого философа) "Проталина". Менжинский, действительно, идеально подходил для доверительной беседы с университетским профессором, до мозга костей проникнутым духом особой корпоративности, присущей петербургской научной и творческой интеллигенции.

И Менжинский не подкачал! Прибыв из Москвы специально для встречи с Таганцевым, он торжественно дал ему слово пощадить всех участников грядущего "очистительного и примирительного" процесса, коль скоро Владимир Николаевич назовет всех участников "профессорской группы" без утайки, как на духу. Об этом ритуале Менжинский, вернувшись в Москву, рассказывал направо и налево тамошним знакомым, от души потешаясь над питерским интеллигентным дурачком, — рассказывал так много и остроумно, что его откровения просочились даже в эмигрантскую печать[49].

Наряду с политическими Агранов предоставил Таганцеву и правовые гарантии, *настолько оригинальные, что они-то и являются едва ли не самым замечательным и значительным штрихом во всей "таганцевской эпопее"*. Об этом, впрочем, будет

подробно сказано ниже.

"…Таганцев после 45 дней героического молчания получил <…> заверения, что никто из участников его организации не будет расстрелян, и только после этого согласился дать показания о своей деятельности, — подытоживает современный историк трагическую историю невольного *предательства* (все-таки это слово нужно выговорить). — В самом деле, такой документ в деле Таганцева сохранился:

"Я, Таганцев, сознательно начинаю давать показания о нашей организации, не утаивая ничего… не утаю ни одного лица, причастного к нашей группе. Все это я делаю для облегчения участи участников процесса.

Я, уполномоченный ВЧК, Яков Саулович Агранов, при помощи гражданина Таганцева, обязуюсь быстро закончить следственное дело и после окончания передать в гласный суд… Обязуюсь, что ни к кому из обвиняемых не будет применена высшая мера наказания".

Конечно, Таганцев проявил непростительную наивность — видимо, в российском дворянстве еще живо было понятие о чести, он не мог даже предположить, что все действия ленинской гвардии основаны на обмане"[50].

"Договор", заключенный Таганцевым, был убедителен не только для него самого. С большой долей вероятности можно сказать, что знакомство арестованных участников "профессорской группы" (эта волна арестов приходится на первые числа августа) с этим "договором" — в виде очной ставки с самим Владимиром Николаевичем или в пересказе следователей-чекистов — оказывалось сильным аргументом в пользу их сотрудничества со следствием.

Финал известен.

Никакого суда — ни "открытого", *ни даже "закрытого"* — над "таганцевцами" не было, ибо ПетрогубЧК использовала для завершения дела постановление ВЦИК и СТО от 4 ноября 1920 года, предоставляющее губернским революционным трибуналам и чрезвычайным комиссиям право "непосредственного исполнения приговора до расстрела включительно в местностях, объявленных на военном положении", а в Петрограде военное и осадное положение было введено еще в связи с кронштадтскими событиями.

Страшно подумать, что испытал В. Н. Таганцев, когда ему открылась подлинная цена полученных им "гарантий"…

Пятьдесят девять человек, в том числе — большинство участников "профессорской группы", были расстреляны в промежутке между 24 (дата "Заключения" по делу Гумилева —

единственному частично рассекреченному из 382 томов "Дела о ПБО") и 31 августа (дата доклада председателя ПетрогубЧК Б. А. Семенова на заседании Петроградского совета, где был обнародован список казненных; в этот список вошли и убитые при аресте Герман и Шведов), более ста получили различные сроки заключения и исправительных работ. Аресты же по подозрению в причастности к "таганцевскому заговору" продолжались всю первую половину 20-х годов.

И, наконец, главное.

Из-за фантастической истории, разыгранной в июле — августе 1921 года Я. С. Аграновым, **все содержательные акценты "дела о контрреволюционном заговоре в Петрограде" радикально поменялись**. Центральными его фигурантами, в конце концов, оказались не офицеры и кронштадтские матросы, а крупнейшие деятели науки и культуры Петрограда. В. Н. Таганцев оказался главным лицом в "деле ПБО" (покойные к этому времени Ю. П. Герман и В. Г. Шведов "затерялись" в рядах прочих агентов, связных и боевиков), а само дело обрело имя *"таганцевского заговора",* — имя, с которым оно и вошло в историю.

VI

С уверенностью можно сказать, что в канун своего возвращения в Россию в марте 1918 года Гумилев был, по крайней мере, *не враждебен новому политическому режиму*. С лета 1917 года, после того как российское Военное министерство командировало его из Петрограда на Салоникский фронт в качестве корреспондента "Русской Воли" (обычная военно-политическая уловка, применяемая для проезда офицеров, направляющихся в зарубежные экспедиционные части через нейтральные страны), Гумилев, так и не добравшийся до театра военных действий на Балканах, работал сначала в парижской Канцелярии военного комиссара русских войск во Франции, а затем — в шифровальном отделе Русского правительственного комитета в Лондоне. О происходящем на родине он, занимая такие должности, был, естественно, вполне осведомлен и иллюзий питать не мог. Более того — с революционными волнениями поэт был знаком не понаслышке.

В конце августа и первой декаде сентября 1917 года (по старому стилю), вместе со своим непосредственным начальником, военным комиссаром Временного правительства Е. И. Раппом, и генералами Занкевичем и Лохвицким, он участвовал в мерах по подавлению восстания русских бригад, размещенных в военном лагере Ля Куртин (в департаменте Крёз, между Лиможем и Клермон-Ферраном). Эти войска, еще в начале года доблестно сражавшиеся в Энской битве в составе Пятой французской армии и даже получившие на свои знамена французский Военный крест с пальмой, после выхода в марте печально известного приказа № 1 Совета рабочих и солдатских депутатов[51] изгнали офицеров, разложились и теперь представляли собой уже не военную часть, а анархическую вольницу, терроризирующую местное население.

Гумилев в эти дни в полной мере мог оценить справедливость слов Пушкина о "бессмысленном и беспощадном русском бунте"! Именно он вел переговоры с главарями мятежников, неадекватными и не желавшими прислушаться ни к каким резонам. После того, как было принято решение о подавлении бунта артиллерийским огнем верных Временному правительству русских экспедиционных частей, Гумилев был на батарее. По свидетельству очевидца, после доклада о готовности расчета поэт снял фуражку, перекрестился, сказал: "Господи, спаси Россию и наших русских дураков!" — и дал отмашку[52].

По официальным подсчетам, среди мятежников было 9

убитых и 49 раненых, после чего гарнизон Ля Куртин выбросил белый флаг[53].

Гумилев же, вернувшись в Париж, написал по поручению М. А. Занкевича подробный отчет для военного министра М. И. Терещенко, где, в частности, указывал в качестве главной причины происшедшей трагедии — влияние "русских газет самого крайнего направления", а также "ленинско-махаевскую" пропаганду "отдельных лиц из эмиграции, получивших свободный доступ в солдатскую массу"[54].

Нет, назвать Николая Степановича в 1917–1918 годах наивным мечтателем, не понимающим, что вокруг него происходит (как это иногда делали некоторые мемуаристы, доходя до "трудных" лет войны и революции[55]), не получается никак!

К этому следует добавить, что в Лондоне, весной 1918 года, когда в России уже было разогнано Учредительное собрание и вовсю велись сепаратные переговоры с Германией (завершившиеся позорным для страны Брестским миром), Гумилев, в отличие от других работников распущенного шифровального отдела Русского правительственного комитета[56], *имел возможность, при желании, быстро найти работу, обеспечивающую хотя бы минимальный достаток*. Это гарантировал поэту его поклонник, русский англичанин Борис Анреп (в будущем — великий мозаичист, один из создателей нового здания Национальной галереи), уже тогда имевший существенный вес в художественных кругах Англии. "Я уговаривал его не ехать, — вспоминал Анреп, — но все было напрасно. Родина тянула его. Во мне этого чувства не было: я уехал из России в 1908 году и устроил свою жизнь за границей"[57].

Здесь следует оговориться. Автор этих строк не разделяет точку зрения тех биографов, которые склонны видеть в Гумилеве безумного фанатика-патриота, которого неудержимо влекла в Россию в 1918 году исступленная, иррациональная и необоримая тяга "к корням". Напротив, вполне можно допустить, что существенную роль здесь сыграла, например, административная необходимость. Как поясняет И. Курляндский: "Во Францию из Англии вернуться было невозможно, что подтверждает циркулярное письмо русского военного агента во Франции А. А. Игнатьева всем военным агентам от 5 (18) января 1918 года: "…ввиду постоянных запросов, испрашивающих разрешение на въезд во Францию, сообщаю, что французы прекратили решительно для всех русских въезд и выезд из Франции, но также следование транзитом". <…> Таким образом, возвращение

Гумилева в Россию не было вызвано патриотическими соображениями, <…> а было абсолютно вынужденным, так как являлось исполнением приказа военного начальства, нарушить который Гумилев не мог. К тому же он находился в тисках материальной необеспеченности"[58].

Можно допустить, что свою роль в отказе от помощи Б. В. Анрепа сыграла и ревность — в преуспевающего художника была платонически влюблена Ахматова, посвятившая ему стихотворения, составившие книгу "Подорожник" (1917):

Словно ангел, возмутивший воду,
Ты взглянул в мое лицо,
Возвратил и силу, и свободу,
И на память чуда взял кольцо.
Мой румянец, жаркий и недужный,
Стерла богомольная печаль.
Памятным мне будет месяц вьюжный,
Северный, встревоженный февраль.

(А. А. Ахматова. Словно ангел, возмутивший воду… 1916)

"Перед его отъездом, — пишет Анреп о последних днях пребывания Гумилева в Лондоне, — я просил его передать А<нне> А<ндреевне> большую, прекрасно сохранившуюся монету Александра Македонского и также шелковый матерьял на платье. Он нехотя взял, говоря: "Ну что вы, Борис Васильевич, она все-таки моя жена". Я разинул рот от удивления. "Не глупите, Николай Степанович", — сказал я сухо"[59].

Говоря о возвращении Гумилева, нельзя не помнить, что в Петрограде в 1918 году находились все его родные — мать, сестра, брат, сын и, конечно, жена, наотрез отказавшаяся даже обсуждать возможность выезда из России еще в 1917 году. "Всю дорогу, — признавался Гумилев И. В. Одоевцевой, — я думал об Анне Андреевне, о том, как мы заживем с ней и Левушкой. Он уже был большой мальчик. Я мечтал стать его другом, товарищем его игр. Да, я так глупо и сентиментально мечтал…"[60].

Все это так, однако, представляя хоть сколько-нибудь характер Гумилева, нельзя ни минуту сомневаться в том, что ни патриотические чувства, ни служебный долг, ни даже родственные и любовные переживания не заставили бы его мирно вернуться на родину в 1918 году, если бы он *окончательно*, по совести, не принимал свершившейся в России революции и видел бы в большевиках своих открытых и непримиримых врагов. И уж, конечно, самым убедительным доказательством относительной

лояльности к новой власти является тот факт, что после прибытия на родину он оказался не на "белом" Дону, а в "красном" Петрограде[61].

VII

"Вероятно, Гумилев <…> не любил большевиков, хотя мог находить в их психологическом типе какие-то достойные уважения моменты, например, когда отмечал, что "большевики, даже расстреливая, уважают смелых", или когда говорил, что, если дело идет о завоевании Индии, его шпага с ними", — писал Р. Д. Тименчик[62].

Как и подавляющее большинство петроградской интеллигенции 1918–1919 годов Гумилев (вернувшийся на родину после почти годового отсутствия) склонен был на первых порах видеть в бытовых лишениях и репрессиях "военного коммунизма" неизбежные издержки, объективно присущие любой исторически активной эпохе. Подобно многим, Гумилев был склонен тогда "*измерять ленинский Октябрь "французским термометрам"*" (Р. Б. Гуль) и терпеливо ждать наступления "*термидора*". К тому же поэт с большим сочувствием относился к просветительским предприятиям советской власти. "Луначарский, — рассказывал он И. В. Одоевцевой, — предложил мне читать курс поэзии и вести практические занятия в "Живом слове"[63]. Я сейчас же с радостью согласился. Еще бы! Исполнилась моя давнишняя мечта — формировать не только настоящих читателей, но, может быть, даже и настоящих поэтов. Я вернулся в самом счастливом настроении"[64]. Помимо Института Живого Слова Гумилев читал лекции по теории поэзии в литературной студии Дома Искусств, студии переводчиков при "Всемирной литературе", а также в студиях Пролеткульта и в 1-й культурно-просветительной коммуне милиционеров. "В последние годы жизни он был чрезвычайно окружен, — писал А. Я. Левинсон, — молодежь тянулась к нему со всех сторон, с восхищением подчиняясь деспотизму молодого мастера, владеющего философским камнем поэзии. В "Красном Петрограде" стал он наставником целого поколения: университет и Пролеткульт равно слали к нему прозелитов"[65].

Однако уже первое "советское" лето 1918 года оказалось насыщенным такими мрачными событиями, которые не могли не вызвать в нем чувства страстного личного протеста против действий "новых якобинцев". Гумилев крайне болезненно пережил убийство Николая II и его семьи. И. Е. Кунина, мимолетная подруга поэта, вспоминала: "Мы пересекали Садовую наискось по трамвайным рельсам, по которым трамваи шли редко, появляясь неизвестно откуда. <…> Внезапно на нас налетел оголтело орущий мальчишка-газетчик. Слов мы не разобрали, и только

<когда> он заорал, вторично промчавшись мимо нас, расслышали: "Убийство царской семьи в Екатеринбурге!" Сознание не сразу воспринимает смысл. Мы стоим, кажется, даже без мыслей, долго ли — не знаю, на нас нашел столбняк. Потом — это было первое движение, одно на двоих — Гумилев рванулся и бросился за газетчиком, схватил его за рукав, вырвал из его рук страничку экстренного выпуска, не уплатив, — я испуганно следила за его движеньями, — вернулся, прислонился ко мне, точно нуждаясь в опоре. Подлинно, он был бел, и казалось — еле стоял на ногах. Раскрывал он этот листок — одну вдвое сложенную страничку — вечность, ясно вижу ее и сегодня. Буквы были огромные. Гумилев опустил левую руку с газетой, медленно, проникновенно перекрестился, и только погодя, сдавленным голосом сказал: "Царствие им небесное. Никогда им этого не прощу". А я, по своему обыкновению хватаясь за первое попавшееся слово <…> ухватилась за это "никогда им этого не прощу". Кому им? Царской семье за невольное дезертирство? Нет, конечно, большевикам. А вышло, правда, будто царской семье и будто причитает по-бабьи: "На кого вы нас, сирот, оставили". <…> На календаре было 17 июля 1918 года"[66].

30 августа 1918 года, когда в Москве Ф. Е. Каплан (Ройтман) совершила покушение на В. И. Ленина, Л. А. Каннегисер в Петрограде убил председателя ПетроЧК М. С. Урицкого. Леонид Каннегисер был даровитым поэтом и знакомым Гумилева, посещавшего литературный салон в квартире его родителей в Саперном переулке, 10[67]. Каннегисер был казнен, но если в этой казни еще можно было видеть трагическую необходимость революционной борьбы, то расстрел более пятисот "буржуа" — заложников — в качестве "мести" за шефа ПетроЧК совесть поэта и боевого офицера, убежденного в том, что "убить безоружного — величайшая подлость"[68], вместить не могла. А дальше было — закрытие независимых газет и типографий, подавление гражданских свобод, самый циничный политический сыск…

Жизнь Гумилева и его семьи в годы "военного коммунизма" была крайне тяжела. Особняк в Царском Селе был реквизирован, и всем приходилось ютиться в случайно подвернувшемся съемном жилье[69], с трудом перебиваясь на скудном пайке "совслужащего", который полагался поэту за педагогическую и редакторскую деятельность. Гумилев, вместе со всей творческой интеллигенцией Петрограда, стойко переносил лишения, однако цинизм коммунистических сановников на фоне этой беспросветной нужды голодного и холодного города шокировал не только Гумилева, но даже и Максима Горького, разразившегося однажды, 11 ноября 1919 года, на заседании издательства

"Всемирная литература" гневной тирадой:

— Нужно, черт возьми, чтобы они либо кормили, либо — пускай отпустят за границу. Раз они так немощны, что ни согреть, ни накормить не в силах. Ведь вот сейчас — оказывается, в тюрьме лучше, чем на воле: я вот сейчас хлопотал о сидящих на Шпалерной, их выпустили, а они не хотят уходить: и теплее, и сытнее! А провизия есть… есть… Это я знаю наверное… есть… в Смольном куча… икры — целые бочки — в Петербурге жить можно… Можно… Вчера у меня одна баба из Смольного была… там они все это жрут, но есть такие, которые жрут со стыдом…[70]

К 1920 году настроения поэта радикально меняются, и от первоначальной политической терпимости не остается и следа. "Убитый ныне Гумилев, — писал в 1921 году сумевший покинуть Россию А. Левинсон, — грезил наяву об обращении за защитой к писателям всего мира. У нас было отнято все, и все в нас запятнано прикосновением, — неизбежным, — к звериному быту. Души наши были конфискованы; в себе уже не найти было опоры"[71]. По свидетельствам С. В. Познера и В. И. Немировича-Данченко, Гумилев планировал бегство за границу, находя сложившуюся в России ситуацию — тупиковой[72]. Немирович-Данченко приводит слова поэта, сказанные во время совместной прогулки, когда оба "обдумывали планы бегства из советского рая": "Да ведь есть же еще на свете солнце и теплое море, и синее-синее небо. Неужели мы так и не увидим их… И смелые, сильные люди, которые не корчатся, как черви, под железною пятою этого торжествующего хама. И вольная песня, и радость жизни"[73].

Летом 1920 года Гумилев пишет первый — страшный — вариант "Канцоны" ("И совсем не в мире мы, а где-то…"):

Кажется, уж где-то было это.
Так же сердце билось все сильней,
Так же перелистывало лето
Синие страницы ясных дней.

Нет, довольно слушать лжепророков,
Если даже лучшие из нас
Говорят об исполненье сроков
В этот темный и звериный час.

В час гиены мы взыскуем рая,
Незаслуженных хотим услад,
В очереди мы стоим, не зная,
Что та очередь приводит в ад.

Там, где все сверканье, все движенье,
Пенье все, — мы там с тобой живем.
Здесь же только наше отраженье
Полонил гниющий водоем.

VIII

Осенью 1920 года Гумилев встречается впервые с Ю. П. Германом.

Предысторию этой встречи подробно описывает Г. В. Иванов. "В Доме литераторов, — пишет он, — люди без опаски знакомились и сразу же заговаривали на интересовавшие их темы. <…> Однажды в такой компании за морковным чаем шел разговор о бегстве. Взвешивали достоинства и недостатки разных границ и способов их перейти. <…>

— Да, предатели, кругом предатели, — вздохнула сухая, придурковатого вида старушка в зеленой вязаной кофте — в недавнем прошлом кавалерственная дама.

— Ну, зачем же все, — возразил ей знаменитый адвокат. — Не все. Вот хотите бежать за границу — бегите с Голубем. Голубь не предаст.

— Кто такой Голубь? — заинтересовался сидевший рядом Гумилев.

— А это, Николай Степанович, по вашей части, — отнесся к нему адвокат. — Вы писали стихи о конквистадорах. Вот вам и есть настоящий конквистадор. Молодой еще человек, гвардейский офицер. Теперь агент не то британской, не то французской разведки. Ходит, представьте себе, через Сестру-реку аки посуху чуть ли не каждый день. Сегодня в Петербурге, послезавтра в Гельсингфорсе, через неделю опять в Петербурге. Перевозит людей, носит почту, снимает военные планы. <…>

— Интересно было бы встретиться, — сказал Гумилев. — Люблю таких людей. Да и дело может найтись.

— За границу хотите?

Гумилев постучал папиросой о крышку портсигара.

— Там уж посмотрим. Вообще интересно. Устройте мне знакомство, а?

Адвокат наморщил лоб.

— Устроить можно, если он, конечно, захочет. Я его снова увижу"[74].

Далее Иванов рассказывает, как Гумилев передал ему "поклон" от Голубя — Германа, который зашел к поэту "прямо из Финляндии". О содержании беседы Гумилев не сказал ничего, заметив: "Это, друг мой, все вещи, которые стоят выше моей болтливости и твоего любопытства. Тут дело идет о жизни и смерти многих. Может быть, даже о всей России"[75].

"Знаменитый адвокат" у Иванова — почти наверняка В. Н. Таганцев (мемуарист путает его с отцом, Н. С. Таганцевым,

основоположником российской науки уголовного права, сенатором и членом Государственного совета), поскольку именно с рассказа о знакомстве Гумилева с Германом Таганцев начинает свое "чистосердечное показание" о Гумилеве (протокол от 6 августа 1921 года). Однако о содержании первых бесед (состоявшихся, очевидно, в сентябре — октябре 1920 года) Таганцев не сообщает. Зато об этом — конечно, недоговаривая и *сознательно путая даты и факты*, — говорит на первом известном нам допросе 9 августа 1921 года сам Гумилев: "Месяца три тому назад ко мне утром пришел молодой человек высокого роста и бритый, сообщивший, что привез мне поклон из Москвы. Я пригласил его войти, и мы беседовали минут двадцать на городские темы. В конце беседы он обещал мне показать имеющиеся в его распоряжении русские заграничные издания. Через несколько дней он действительно принес мне несколько номеров каких-то газет. И оставил у меня, несмотря на мое заявление, что я в них не нуждаюсь. Прочтя эти номера и не найдя в них ничего для меня интересного, я их сжег. Приблизительно через неделю он пришел опять и стал спрашивать меня, не знаю ли я кого-нибудь, желающего работать для контрреволюции. Я объяснил, что никого такого не знаю, тогда он указал на незначительность работы: добывание разных сведений и настроений, раздачу листовок и сообщал, что эта работа может оплачиваться. Тогда я отказался продолжать разговор с ним на эту тему, и он ушел. Фамилию свою он назвал мне, представляясь. Я ее забыл, но она была не Герман и не Шведов"[76].

Последнее — правда, ибо и тот и другой общались с Гумилевым под конспиративными псевдонимами (Голубь и Вячеславский), а вот реакция поэта на предложение Германа была, судя по показаниям Таганцева, совершенно иной: "Поэт Гумилев после рассказа Германа обращался к нему в конце ноября 1920 года. Гумилев утверждает, что с ним связана группа интеллигентов, которой он сможет распоряжаться, и <которая> в случае выступления согласна выйти на улицу, но желал бы иметь в распоряжении для технических надобностей некоторую свободную наличность. Таковой у нас тогда не было"[77].

Эти показания Таганцев подтвердил и на допросе, который происходил накануне расстрела, уточнив: "…Насколько я помню, в разговоре с Ю. Германом <Гумилев> сказал, что во время активного выступления в Петрограде, **которое он предлагал устроить**, к восставшей организации присоединится группа интеллигентов в полтораста человек"[78]. В воспоминаниях Г. В. Иванова сохранено впечатление Голубя от общения с

Гумилевым: "Он умный человек, но рассуждает как ребенок. Ну, романтик, — все равно. Правда, честь, Бог, прогресс, разум… это как, когда начинали войну, скакала конная гвардия в атаку — палаши наголо, в белых перчатках"[79].

"Мы решили тогда предварительно проверить надежность Гумилева, командировав к нему Шведова для установления связей. В течение трех месяцев, однако, это не было сделано", — завершает свои показания об этом, первом эпизоде "контрреволюционной деятельности" поэта В. Н. Таганцев[80]. Действительно, три последующих месяца в жизни Гумилева (декабрь 1920-го, январь и начало февраля 1921 года) до предела насыщены всевозможными заседаниями в творческих объединениях, издательскими делами, публичными выступлениями, но ни о каких подозрительных контактах в это время ничего не известно[81]. Правда, перед Рождеством (т. е. около 7 января 1921 года по новому стилю) к поэту, по его собственному признанию на допросе 18 августа, заходила неизвестная "немолодая дама" от поэта Бориса Верина (Б. Н. Башкирова), сотрудничавшего тогда в гельсингфорской газете "Новая жизнь". Эта "дама" якобы доставила записку Верина, где содержался "ряд вопросов, связанных <…> с заграничным шпионажем, например, сведения о готовящемся походе <большевиков> на Индию", однако отвечать на них Николай Степанович не стал, и "дама" ушла ни с чем[82].

В "Деле Гумилева" этот "сюжет с немолодой дамой" никакого продолжения не получил. Не исключено, что поэт пытался таким образом просто "запутать следы", упоминая имя В. Н. Верина-Башкирова, заведомо находящегося вне досягаемости чекистов[83]. Что же касается эмиссаров ПБО, то, судя по всему, зимой 1920–1921 годов Гумилев просто выпал из поля их зрения как фигура малоперспективная.

Ведь ни о чем конкретном Гумилев с Ю. П. Германом осенью 1920 года так и не договорились. Шел разговор о намерениях. Герман, предварительно "прощупав" Гумилева, предложил ему "добывать разные сведения и настроения и раздавать листовки", намекнув, что эта работа может оплачиваться. Гумилев в ответ предложил Герману не размениваться на мелочи, а, не откладывая дела в долгий ящик, взять и организовать вместе с ним, Гумилевым, "активное восстание в Петрограде", потребовав на это масштабное мероприятие такую сумму, которой ни Герман, ни вся его организация на тот момент не располагали.

Прагматик Герман, к тому времени, вероятно, уже сытый по горло общением с креатурами Таганцева, прилива энтузиазма от гумилевского проекта не испытал, а потом жаловался Георгию

Иванову, что Гумилев, при всем его уме, коль скоро речь идет о реалиях политической борьбы, "рассуждает как ребенок"… Никаких поручений — даже "добычу сведений и раздачу листовок" — Герман решил "романтику" не давать, а Таганцеву посоветовал еще раз "проверить" Гумилева. Но за более важными и ответственными делами (именно в это время начал завязываться "узел" кронштадтских событий) проконтролировать выполнение этого поручения Герман забыл, Таганцев же, "завербовав" Гумилева, счел свою миссию выполненной.

С другой стороны, сам Гумилев, в отсутствие какого-нибудь практического продолжения конспиративных бесед с Голубем, снова погрузился в привычную литературную суету. "Он <…> отрицал коммунизм и горевал об участи родины, попавшей в обезьяньи лапы кремлевских правителей, — писал о Гумилеве в 1920–1921 годах С. Познер. — Но нигде и никогда публично против них не выступал. Не потому, что он боялся рисковать собой — это чувство было чуждо ему, не раз на войне смотревшему в глаза смерти, — а потому, что это выходило за круг его интересов"[84]. Впрочем, бесследно для Гумилева первый опыт общения с антикоммунистическим подпольем не прошел. "Примечательно, — пишет Вадим Крейд, — одно из признаний Гумилева в передаче Немировича-Данченко — признание, целиком противоречащее тому, что говорил <о разговорах с Гумилевым> Юрий Герман Георгию Иванову: "На переворот в России никакой надежды, — говорил Гумилев. — Все усилия тех, кто любит ее и болеет по ней, разобьются о сплошную стену небывалого в мире шпионажа. Ведь он просочил нас, как вода губку. Нельзя верить никому. Из-за границы спасение тоже не придет. Большевики, когда им грозит что-нибудь оттуда, — бросают кость. Ведь награбленного не жалко. Нет, здесь восстание невозможно. Даже мысль о нем предупреждена. И готовиться к нему глупо. Все это вода на их мельницу". Возможно, это и не совсем противоречие. Разговор с Немировичем-Данченко происходил <…> в 1920 году. Позднее мысль о какой-нибудь освободительной деятельности стала казаться Гумилеву более реалистической — не исключено, что это случилось в итоге разговоров с Германом"[85].

IX

Заговорщики вспомнили о Гумилеве лишь в середине февраля 1921 года, когда кронштадтский кризис переходил в открытое вооруженное противостояние и восставшим позарез требовалась поддержка петроградцев. "Только во время Кронштадта, — показывал В. Н. Таганцев на допросе 6 августа 1921 года, — Шведов выполнил поручение: разыскал на Преображенской ул<ице> поэта Гумилева, адрес я узнал для него во "Всемирной литературе", где служит Гумилев. Шведов предложил ему помочь нам, если представится надобность в составлении прокламаций. Гумилев согласился, сказав, что оставляет право отказываться от тем, не отвечающих его, далеко не правым, взглядам. Гумилев был близок к Совет<ской> ориентации. Шведов мог успокоить, что мы не монархисты, а держимся за власть Сов <етов>[86]. Не знаю, насколько <он> мог поверить этому утверждению. На расходы Гумилеву было выделено 200 000 советских рублей и лента для пишущей машинки. Про группу свою Гумилев дал уклончивый ответ, сказав, что для организации ему потребно время. Через несколько дней пал Кронштадт"[87]. Гумилев (протокол допроса 18 августа 1921 года) несколько уточняет показания Таганцева: "…В начале Кронштадтского восстания ко мне пришел Вячеславский (Шведов. — Ю.З.) с предложением доставлять для него сведенья и принять участие в восстании, буде оно переносится в Петроград. От дачи сведений я отказался, а на выступление согласился, причем указал, что мне, по всей вероятности, удастся в момент выступления собрать и повести за собой кучку прохожих, пользуясь общим оппозиционным настроением. Я выразил также согласие на попытку написания контрреволюционных стихов. Дней через пять он пришел ко мне опять, вел те же разговоры и предложил гектографировальную ленту и деньги на расходы, связанные с выступлением. Я не взял ни того, ни другого, указав, что не знаю, удастся ли мне использовать ленту. Через несколько дней он зашел опять, и я определенно ответил, что ленту я не беру, не будучи в состоянии использовать, а деньги 200 000 взял на всякий случай, ожидая или событий, то есть восстания в городе, или прихода Вячеславского, чтобы вернуть их, потому что после падения Крондштадта я резко изменил мое отношение к Советской власти. С тех пор ни Вячеславский, ни кто другой с подобными разговорами ко мне не приходили, и я предал все дело забвению"[88].

Итак, Гумилев трижды встречался со Шведовым в

"кронштадтские дни". Резонно предположить, что речь шла теперь уже, конечно, не столько о "проверке", сколько о деятельном участии в событиях. Но ни в показаниях Таганцева, ни в показаниях Гумилева, ни даже в следственном "Заключении" и справке в "списке расстрелянных" ни о каких конкретных действиях Гумилева (кроме того, что он взял-таки "со второго захода" 200 000 рублей от Шведова) ничего не говорится. Таганцев утверждает, что Гумилев "согласился" написать прокламации (но не написал) и "уклончиво" пообещал через какое-то время организовать некую группу (но не организовал). Гумилев "берет на себя" даже несколько больше: он признает, что определенно "согласился" и на выступление, а затем "ждал" "восстания в городе" (но такового, естественно, не дождался). Чекистов это вполне устроило, и вину Гумилева они сформулировали вполне согласно с показаниями обоих подследственных: поэт "взял на себя оказать активное содействие в борьбе с большевиками и составлении прокламаций контрреволюционного характера".[89]

Между тем, как и следовало ожидать, в реальности Гумилев вовсе не ограничился пассивным ожиданием "часа икс". Он действительно пытался "вести пропаганду", маскируясь (без особого успеха) "под рабочего".

"Возможно даже, — пишет В. Крейд, — что Гумилев был одним из двух-трех человек (из "профессорской группы". — Ю.З.), кто хоть в некоторой степени действовал. <…> Амфитеатров <…> рассказал о памятной ему истории "с переодеванием". "Такую "штуку с переодеванием" <…> Гумилев устроил в день бунта работниц на Трубочном заводе, когда был избит и прогнан с позором известный большевистский оратор-агитатор Анцелович. Ради этого маскарада он опоздал на весьма важное свидание, назначенное ему у меня в доме. <…> А Гумилев потом, когда я стал ему пенять на его неаккуратность, отвечал сконфуженно: "Тем досаднее, что вышло глупо. Узнают по первому взгляду — и никакого доверия. Еще спасибо, что не приняли за провокатора". — "Да извините, Николай Степанович, но, с позволения сказать, какой черт понес вас на эту гамру?" — "Увлекся. Думал, что "начинается". Ведь лишь бы загорелось, а пожару быть время"[90].

В мемуарах И. В. Одоевцевой также описывается появление поэта "в кронштадтские дни" (точная дата — 24 февраля 1921 года, на следующий день Петроград был объявлен на осадном положении) в Доме литераторов "в каком-то поношенном рыжем пальтишке, перевязанном ремнем в талию, в громадных стоптанных валенках, на макушке вязаная белая шапка, как у

конькобежца, и за плечами большой залатанный мешок.

Вид его так странен, что все, молча и недоумевая, смотрят на него. <…> Первым опомнился Кузмин:

— Коленька, ты что, на маскарад собрался? Не время, кажется.

Гумилев гордо выпрямляется, счищая рукавицей снег с груди.

— Я, Мишенька, спешу. Я иду на Васильевский остров агитировать и оделся так, чтобы внушить пролетариям доверие, — произносит он с достоинством. <…>

Я <…> заливаюсь хохотом. За мною Олечка Арбенина. Люся Дарская срывается с места и, визжа, начинает скакать вокруг Гумилева, ударяя кулаком по его мешку. Гумилев холодно отстраняет ее рукой и, обернувшись к нам с Олечкой Арбениной, медленно и веско произносит:

— Так провожают женщины героя, идущего на смерть!"[91].

Здесь уместно вспомнить, что Д. Л. Голинков, описывая февраль — март 1921 года, указывает: "Во время "волынок" в Петрограде (т. е. февральских возмущений и стачек в рабочих окраинах, вызванных недовольством "голодной" политикой "военного коммунизма". — Ю.З.) и кронштадтского мятежа члены ПБО распространяли среди рабочих прокламации антисоветского содержания, *а один из лидеров организации, В. Г. Шведов, выступал с антибольшевистскими речами даже на заводских собраниях"*[92].

Не с Николаем ли Степановичем "на пару"? Ведь именно Шведов — Вячеславский в эти самые дни и приходил к Гумилеву "с проверкой". Проверка, как говорится, и есть проверка: и вот Гумилев, в кепке и пальто с чужого плеча, опаздывает к Амфитеатрову на "важное свидание"… К этим же дням относится появление странного стихотворного "Пантума" с редчайшим у Гумилева недвусмысленным политическим "подтекстом":

Какая смертная тоска
Нам приходить и ждать напрасно.
А если я попал в Чека?
Вы знаете, что я не красный!
Нам приходить и ждать напрасно
Пожалуй силы больше нет.
Вы знаете, что я не красный,
Но и не белый, — я — поэт.
Пожалуй силы больше нет
Читать стихи, писать доклады,
Но и не белый, — я — поэт,
Мы все политике не рады.
Писать стихи, читать доклады,

Рассматривать частицу "как",
Путь к славе медленный, но верный:
Моя трибуна — Зодиак!
Высоко над земною скверной
Путь к славе медленный, но верный,
Но жизнь людская так легка,
Высоко над земною скверной
Такая смертная тоска[93].

Вячеславский просит Гумилева составить прокламации — и вдруг возникает странная проблема "гектографировальной ленты" (именно **ленты для гектографа**, а не для пишущей машинки, как заявлял Таганцев, из показаний которого эта оговорка и перекочевала в обвинительное заключение). Но ведь буквально в те же самые дни на гектографе печатается рукописный журнал "Цеха поэтов" "Новый Гиперборей" (вышло 23 экземпляра) [94]. Поэтому можно предположить, что во время первой встречи со Шведовым Гумилев, соглашаясь составить прокламации, предложил *отпечатать их на гектографе*, благо "выход" на этот агрегат (весьма труднодоступный в условиях военного коммунизма) тогда у синдика "Цеха поэтов" был. Нужна была лента и, разумеется, деньги гектографисту за услуги. Через несколько дней Шведов принес и то и другое, но Гумилев, который, очевидно, за это время успел навести справки, от ленты теперь отказывается. Вероятно, его знакомый гектографист решил не рисковать; антисоветские листовки — не рукописный журнал стихов. Деньги же Гумилев берет (а тот же А В. Амфитеатров в своих воспоминаниях объясняет почему: для агитации среди рабочих и красноармейцев нужна была водка, много водки…)[95].

О том же эпизоде с листовкой и гектографом вспоминает и Г. В. Иванов, случайно зашедший к Гумилеву, очевидно, между первым и вторым визитами Шведова: "Однажды Гумилев прочел мне прокламацию, лично им написанную. Это было в кронштадтские дни. Прокламация призывала рабочих поддержать восставших матросов, говорилось в ней что-то о "Гришке Распутине" и "Гришке Зиновьеве". Написана она была довольно витиевато, но Гумилев находил, что это как раз язык, "доступный рабочим массам". Я поспорил с ним немного, потом спросил:

— Как же ты так свою рукопись отдаешь? Хоть бы на машинке переписал. Ведь мало ли куда она может попасть.

— Не беспокойся, размножат на ротаторе, а рукопись вернут мне. У нас это дело хорошо поставлено"[96].

Интересно, что упоминание о "ротаторе" позволило

В. Крейду, еще не знакомому с протоколами допросов В. Н. Таганцева и Гумилева (свою статью он писал до выхода книги В. К. Лукницкой, где "Дело Гумилева" впервые было опубликовано), усомниться в достоверности сообщаемых Г. В. Ивановым сведений: "Найти издателя или просто типографию было делом сложнейшим. Петроград испытывал бумажный голод. Все типографии давно уже были реквизированы. Большинство из них не работало. Те, которые как-то уцелели, работали на большевиков. <…> По уверениям советского историка, имеющего доступ в чекистские архивы, подобные "летучки и воззвания" печатались тогда в Стокгольме и затем переправлялись в Петроград"[97]. Совершенная правда, — но, как мы знаем, *именно у Гумилева тогда доступ к гектографу как раз был*! Потому-то и Шведов ухватился за уникальную возможность: это было, конечно, и быстрее, и безопаснее, нежели переправка тиража из Стокгольма.

Но ведь это — весомое доказательство правдивости **всех** сообщаемых Ивановым сведений! Желая мистифицировать читателей, он не стал бы упоминать столь неправдоподобную для всех знакомых с бытом Петрограда в эпоху "военного коммунизма" и совершенно необязательную деталь, как размножение подпольной листовки на гектографе. **А это значит, что и сам текст листовки — пресловутое витиеватое "воззвание", сопрягающее "Гришку Зиновьева" с "Гришкой Распутиным", — был написан Гумилевым!** Иванов, кстати, был уверен, что именно этот текст и послужил главной уликой: опасный автограф Гумилев-де затерял в своих бумагах, а чекисты, обыскивая архив поэта, "воззвание" обнаружили. Мы знаем теперь, что это не так в "Деле Гумилева" никакого текста "воззвания" нет, а в "списке расстрелянных" говорится лишь об "активном содействии" Гумилева в "составлении прокламаций к. — револ. содержания".

Прокламация *была им написана*! Более того, не получив возможности распространять "авторскую" агитационную продукцию, Гумилев распространял какие-то другие листовки и даже пытался привлечь к этому знакомых литераторов. Так, зная о связях секретаря петроградского отделения "Всероссийского союза поэтов" Лазаря Бермана с левыми эсерами, "Николай Степанович обратился к нему за помощью: принес две пачки листовок разного содержания и предложил поучаствовать в их распространении. Одна из них начиналась антисемитским лозунгом. "Связной" возмутился: "Понимаете ли вы, что предлагаете мне, Лазарю Берману, распространять?" Гумилев с извинением отменил свою просьбу"[98].

"Лозунгом", возмутившим Лазаря Вульфовича, очевидно, было сакраментальное "*Бей жидов, спасай Россию!",* каковой призыв, в качестве "доступного народным массам", действительно был задействован тогда какими-то несметно умными "идеологами" антибольшевистского фронта[99]. Очевидно, *после этого эпизода Гумилев и выговорил у Шведова "право отказываться" в пропагандистской работе "от тем, не отвечающих его далеко не правым взглядам",* о чем особо упоминается в показании Таганцева…

Просто поразительно, как дополняют друг друга сохранившиеся источники!

Вообще, следует признать, что "проверка" Шведовым Гумилева дала, безусловно, положительный результат: *в критический момент поэт оказался верен слову, данному Герману и Таганцеву*. Без особой охоты, не ощущая себя вполне "ни красным, ни белым" ("Мы все политике не рады!"), но он сделал все, что тогда от него требовал "проверяющий", — и даже больше.

Пользы это, впрочем, заговорщикам не принесло: 17–18 марта 1921 года (пятидесятилетие казни парижских коммунаров!) войска М. Н. Тухачевского разгромили Кронштадт, начались аресты, и руководители ПБО ушли в глухое подполье. Всякие контакты поэта с ними вновь прервались. "Стороной я услыхал, что Гумилев весьма далеко отходит от контрреволюционных взглядов. Я к нему больше не обращался, как и Шведов и Герман, и поэтических прокламаций нам не пришлось ожидать", — свидетельствует В. Н. Таганцев[100].

Практический опыт "конспиративной работы" внушил Гумилеву скептическое отношение ко всякой подобной деятельности в РСФСР. "Накануне своего ареста, — вспоминает В. И. Немирович-Данченко, — он еще раз заговорил о неизбежности уйти из России.

— Ждать нечего. Ни переворота не будет, ни Термидора. Эти каторжники крепко захватили власть. Они опираются на две армии: красную и армию шпионов. И вторая гораздо многочисленнее первой. Я удивляюсь тем, кто составляет сейчас заговоры… Слепцы, они играют в руки провокации. Я не трус. Борьба моя стихия, но на работу в тайных организациях я бы теперь не пошел"[101].

X

В первые недели после подавления Кронштадтского восстания (конец марта — начало мая 1921 года) Гумилев, по-видимому, ожидал скорого ареста. Человек деятельный, он не сидел сложа руки и попытался предпринять некоторые предварительные меры, чтобы предупредить действия чекистов и оставить себе пути к отступлению. Поэт тщательно перебрал свой архив и библиотеку в квартире на Преображенской, 5, "вычищая" все возможные улики[102], и старался не ночевать по месту прописки, перебравшись в общежитие Дома Искусств[103]. А. А. Ахматова вспоминала, как, встретившись с ней весной 1921 года в очереди за продуктами в Комиссии по улучшению быта ученых (КУБУ), Гумилев "говорил <…> о своем желании уехать за границу и сказал, что не уезжает только из-за семьи"[104].

В семье поэта действительно в это время были неурядицы: его молодая жена Анна Николаевна Гумилева-Энгельгардт, жившая с маленькой дочкой Леной в голодные зимы 1919–1920 и 1920–1921 годов у свекрови в Бежецке, поссорилась с сестрой Гумилева, А. С. Сверчковой (тоже бежечанкой) и теперь забрасывала мужа ужасными письмами о том, что она повесится или отравится, если останется в Бежецке[105]. Разумеется, семейные ссоры всегда происходят некстати, но эта поставила Гумилева просто в отчаянное положение!

И тем не менее он, очень расстроенный, вынужден был 20 мая 1921 года забрать жену и дочь в Петроград. Однако в квартире на Преображенской двухлетняя Леночка Гумилева провела не более суток; 22 мая поэт отвез дочь в детский дом, которым в это время заведовала жена М. Л. Лозинского Татьяна Борисовна Лозинская (урожденная Шапирова, 1885–1955) и который тогда, на летние месяцы, выезжал в Парголово (пригород Петрограда).

Как это понятно сейчас, желание поэта немедленно пристроить двухлетнюю Лену под надежный присмотр за город, было вызвано, прежде всего, сознанием нависшей опасности. *Во второй половине мая 1921 года по Петрограду прокатилась первая волна арестов участников антикоммунистического подполья, связанных с кронштадтским выступлением*. "Заводы все закрыты, чтобы не было голодных беспорядков, — записывал в эти дни в своем дневнике МА Кузмин. — <…> Арестовывают по городу все каких-то старух"[106]. Разумеется, ни жене, ни Т. Б. Лозинской, ни другим знакомым объяснять причины своего неожиданного решения относительно Лены Гумилев не мог. Анна Николаевна, не предполагавшая, *насколько* некстати случился ее внезапный

переезд в Петроград, была растеряна и расстроена. "Вчера в Доме Искусств увидел Гумилева с какой-то бледной и запутанной женщиной, — отметил 24 мая 1921 года в своем дневнике К. И. Чуковский. — Оказалось, что это его жена Анна Николаевна, урожд<енная> Энгельгардт <…> Гумилев обращается с ней деспотически. <…> Он выписал ее сюда и приказал ей отдать девочку в приют, в Парголово. Она — из безотчетного страха перед ним — подчинилась. <…> Пугливо поглядывая на Гумилева, она говорила: — Не правда ли, девочке там будет хорошо? Даже лучше, чем дома? Ей там позволили брать с собой в постель хлеб… У нее есть такая дурная привычка: брать с собой в постель хлеб… очень дурная привычка… потом там воздух… а я буду приезжать… Не правда ли, Коля, я буду к ней приезжать…"[107].

30 мая 1921 года при попытке перейти финскую границу был убит руководитель Петроградской боевой организации Ю. П. Герман (Голубь), а 5 июня — арестован непосредственный "конспиративный начальник" Гумилева профессор В. Н. Таганцев.

Но Гумилева в это время в городе уже не было! 3 июня поэт, вместе со своим новым другом, флаг-секретарем командующего Военно-морскими силами РСФСР вице-адмирала А. В. Немитца Владимиром Александровичем Павловым, отбыл из Петербурга в Москву, где оба присоединились к свите адмирала, отправлявшегося в инспекционную поездку в Крым[108]. Квартира на Преображенской была пуста (и очищена от всей "ненужной" документации), пуста была и комната в Доме Искусств: Анна Николаевна на время отсутствия мужа перебралась к родителям (Эртелев переулок, 14). Леночка Гумилева бегала среди фабричных детишек под надежным крылом Лозинских на даче в Парголове, а Лева Гумилев так и продолжал жить с бабушкой в удаленном Бежецке.

Весь июнь Гумилев, вместе со штабом Немитца, расквартированном в вагоне адмиральского поезда, проводит в Севастополе. Здесь он прочел три лекции о поэзии, нанес визит бывшей теще И. Э. Горенко, познакомился с лейтенантом С. А. Колбасьевым (в недалеком будущем — выдающимся писателем-маринистом) и, пользуясь случаем, издал в военной типографии сборник стихов "Шатер" — свою последнюю прижизненную книгу. На флагманском миноносце, вместе с Павловым и Колбасьевым, поэт участвовал в инспекционных поездках вице-адмирала, в частности — в Феодосию, где он в портовой конторе неожиданно встретился и помирился со своим давним "заклятым другом" М. А. Волошиным[109]. В конце месяца штабной поезд Немитца отбыл из Севастополя в Ростов-на-

Дону[110], а оттуда — в Москву, куда прибыл 2 июля 1921 года.

Начало "московских дней" (2–6 июля) подробно описано в воспоминаниях поэтессы О. А. Мочаловой (ставшей героиней мимолетного любовного романа поэта). О. А. Мочалова, случайно встретившая Гумилева в кафе "Домино" (Тверская улица, 18) и на два последующих дня ставшая его спутницей в прогулках по Москве, помимо рассказа о собственно "любовной истории"[111] приводит в воспоминаниях многочисленные высказывания, ярко передающие настроение поэта после путешествия по разрушенной Гражданской войной южной России и перед возвращением в "послекронштадтский", "нэповский" Петроград:

— Что делать дальше? Стать ученым, литературоведом, археологом, переводчиком. Нельзя — только писать стихи…[112]

Описывает Мочалова и прием у бывшего хозяина арт-кабаре "Бродячая собака" Б. К. Пронина в его московской квартире в доме № 9 по Крестовоздвиженскому переулку, где, помимо Гумилева был <Федор> Сологуб, тихий и затягивающий в омут своей тишины"[113]. После этого между Гумилевым и Мочаловой произошла ссора, и она не пошла на его творческий вечер в московском Союзе поэтов, который состоялся на следующий день, 5 июля. Однако этот вечер подробно описан И. В. Одоевцевой (которая, правда, ошибочно называет его "вечером во Дворце Искусств"), По ее свидетельству, Гумилев читал стихотворения "Душа и тело", "Молитва мастеров", "Перстень", "Либерия", "Персидская миниатюра":

Когда я кончу; наконец,
Игру в cache-cache со смертью хмурой,
То сделает меня Творец
Персидскою миниатюрой.

Особого успеха у весьма малочисленной и в основном имажинистской аудитории Гумилев не имел. Зато после завершения вечера произошла фантастическая встреча, упоминание о которой имеется в стихотворении "Мои читатели":

Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошел пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи.

Этим человеком был Яков Григорьевич Блюмкин, левый эсер, заведовавший в 1918 году секретным отделом по борьбе с

контрреволюцией ВЧК, в прошлом — убийца германского посла графа Мирбаха (что послужило сигналом к началу восстания левых эсеров), а в недалеком будущем — невольный соучастник убийства С. А. Есенина в гостинице "Англетер".

После вечера в Союзе поэтов Гумилев, Одоевцева, Сологуб и А. Н. Чеботаревская (о О. Н. Мочаловой Одоевцева не упоминает) вновь пошли к Пронину, где состоялся спор Гумилева и Сологуба "о бессмертии". Затем Гумилев проводил Одоевцеву до Басманной улицы, где она гостила у брата, а на следующее утро уехал в Петроград[114].

7 июля 1921 года Гумилев был в Петрограде. По словам Г. В. Иванова, он вернулся "загоревший, отдохнувший, полный планов и надежд. Он был доволен и поездкой, и новыми стихами, и работой с учениками-студентами. Ощущение полноты жизни, расцвета, зрелости, удачи, которое испытывал в последние дни своей жизни Гумилев, сказалось, между прочим, в заглавии, которое он тогда придумал для своей будущей книги: "Посередине странствия земного"[115]. Все события его последнего, неполного петербургского месяца перед арестом как будто свидетельствуют о том, насколько далеко отошел он от политической борьбы.

Едва ступив на невские берега, Гумилев развивает бурную деятельность по организации в помещениях Петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов в Доме Мурузи на Литейном проспекте особого Клуба поэтов, по образу ставшей к 1921 году уже легендарной петербургской "Бродячей собаки" и еще вполне активных в то время имажинистских московских литературных кафе. Клуб поэтов открылся 11 июля, одновременно с "Литературным особняком" Б. К. Пронина на Арбате (очевидно, по взаимной договоренности). До начала августа Гумилев бывал в клубе едва ли не ежедневно и в конце концов настоял на передаче руководства заведением "Цеху поэтов" (читай — ему, Гумилеву, лично). Решение об этом было принято на общем собрании Петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов в воскресенье 24 июля, а уже в понедельник, 25-го, Гумилев встречал приехавшего по его приглашению из Ростова-на-Дону режиссера С. М. Горелика, с которым начинает хлопотать о переводе в Петроград труппы ростовской "Театральной мастерской". Речь шла об организации на базе Клуба поэтов нового театра миниатюр, директором которого должен был стать сам Гумилев!

В июле поэт сдает в типографию рукопись очередного поэтического сборника "Огненный столп" (он появится на прилавках петроградских книжных магазинов едва ли не в самый

день расстрела "таганцевцев" на Ржевском полигоне!) и заключает договор с издательством "Всемирная литература" на перевод романа Альфреда де Мюссе "Исповедь сына века". К этому времени у него на руках уже имеются как минимум три других издательских договора — с "Мыслью", "Петрополисом" и ревельским "Библиофилом"…

Все говорит о том, что он ощущает себя именно "посередине странствия земного". Познакомившись 27 июля на вечере в Клубе поэтов с юной поэтессой Ниной Берберовой, он, тут же влюбившись, 2 августа показывает ей чистую тетрадь в черном переплете, на первой странице которой было написано посвященное Берберовой стихотворение:

Я сам над собой насмеялся,
И сам я себя обманул,
Когда мог подумать, что в мире
Есть кто-нибудь, кроме тебя.

Лишь белая в белой одежде,
Как в пеплуме древних богинь,
Ты держишь хрустальную сферу
В прозрачных и тонких перстах.

А все океаны, все горы,
Архангелы, люди, цветы,
Они в глубине отразились
Прозрачных девических глаз.

Как странно подумать, что в мире
Есть что-нибудь, кроме тебя,
Что сам я не только ночная
Бессонная песнь о тебе.

Но свет у тебя за плечами,
Такой ослепительный свет.
Там длинные пламени реют,
Как два золотые крыла.

Н. Н. Берберова вспоминала: "Пойду теперь писать стихи про вас", — сказал он мне на прощанье. Я вошла в ворота дома, зная, что он стоит и смотрит мне вслед. Переломив себя, я остановилась, обернулась к нему и сказала просто и спокойно: "Спасибо вам, Николай Степанович"[116].

Черная тетрадь Берберовой так и осталась навсегда чистой —

с единственной, первой заполненной страницей…

Единственное событие, нарушающее абсолютную внешнюю безмятежность этих июльских дней Гумилева (как будто бы ПБО, "кронштадтских воззваний" и февральских митингов на Трубочном заводе в его судьбе и не было вовсе!), произошло в первые дни после возвращения поэта из крымской поездки, 8 или 9 июля. "А<нна> А<хматова> рассказывает, что Николай Степанович был у нее в последний раз в <19>21 году, приблизительно за 2 дня до вечера "Petropolis'a"[117]. А.А. жила тогда на Сергиевской <дом №7>, во 2 этаже[118] <…> А. А. сидит у окна и вдруг слышит голос: "Аня!" (Когда к А.А. приходили, всегда звали ее со двора, иначе к ней было не попасть, потому что А.А. должна была, чтоб открыть дверь, пройти внутренним ходом в 3-й этаж и пропустить посетителя через квартиру 3-го этажа). <…> Взглянула в окно — увидела Николая Степановича и Георгия Иванова. Впустила их к себе. Николай Степанович (это была первая встреча с А. А. после приезда Николая Степановича из Крыма) рассказал А.А о встрече с Инной Эразмовной <Горенко>, с сестрой А.А., о смерти брата А.А. — Андрея Андреевича… И<нну> Э<размовну> и сестру <Ахматовой Ию> Николай Степанович увидел в Крыму. <…> Звал на вечер в Доме Мурузи. А.А. отказалась, сказала, что она вообще не хочет выступать, потому что у нее после смерти брата совсем не такое настроение. Что в вечере Петрополиса она будет участвовать только потому, что обещала это, а зачем ей идти в Дом Мурузи, где люди веселиться будут и где ее никто не ждет… Николай Степанович был очень сух и холоден с А.А… Упрекал ее, что она нигде не хочет выступать <…> А.А. повела Николая Степановича и Г. Иванова не через 3-й этаж, а к темной (потайной прежде) винтовой лестнице, по которой можно было прямо из квартиры выйти на улицу. Лестница была совсем темная, и когда Николай Степанович стал спускаться по ней, А.А. сказала: "**По такой лестнице только на казнь ходить…**"[119].

XI

На последние дни перед арестом приходится еще один — третий и последний — "всплеск конспиративной активности" Гумилева, внезапный и загадочный.

Член редколлегии издательства "Всемирная литература" профессор Б. П. Сильверсан, эмигрировав в Финляндию, вспоминал, что **в конце июля 1921 года Гумилев обратился к нему с предложением вступить в руководимую им секцию некоей подпольной организации**: "…Он предложил мне вступить в эту организацию, причем ему нужно было сперва мое принципиальное согласие (каковое я незамедлительно и от всей души ему дал), а за этим должно было последовать мое фактическое вступление в организацию: предполагалось, между прочим, воспользоваться моей тайной связью с Финляндией, т. е. предполагал это, по-видимому, пока только Гумилев; он сообщил мне тогда, что организация состоит из пятерок, членов каждой пятерки знает только ее глава, а эти главы известны только одному Таганцеву; вследствие летних арестов в этих пятерках оказались пробелы, и Гумилев стремился к их заполнению, он говорил мне также, что разветвления заговора весьма многочисленные и захватывают влиятельные круги Красной Армии; он был чрезвычайно конспиративен и взял с меня честное слово, что я о его предложении не скажу никому <…> Из его слов я заключил также, что он составлял все прокламации и вообще ведал пропагандой в Красной Армии…"[120].

С точно таким же предложением Гумилев ранее обращался и к Георгию Иванову, который, в отличие от Б. П. Сильверсана, от участия в "пятерке Гумилева" отказался. "…Когда арестовали Таганцева, — писал Г. В. Иванов, — и пошли слухи, что раскрыт большой заговор, я Гумилева спросил: не та ли это организация, к которой он имел касательство? Он улыбнулся:

— Почем же я знаю? Я только винтик в большом механизме. Мое дело держать мое колесико. Больше мне ничего не известно.

— Но если вдруг это твое начальство арестовано, ведь могут схватить и тебя.

— Невозможно, — покачал он головой. — Мое имя знают только два человека, которым я верю, как самому себе"[121].

Ясно, что Гумилев имел в виду В. Н. Таганцева и В. Г. Шведова (Ю. П. Герман, напоминаем, был убит 30 мая, и слухи об этом ходили в Петрограде). Но вот зачем вдруг ему понадобилось в конце июля 1921 года "заполнять пробелы в пятерках" — мы можем только догадываться.

Возможно, весь гумилевский аполитизм и нарочитая "публичность" его последних июльских недель были игрой, скрывающей конспиративную работу, вступившую в какую-то новую фазу, связанную с "пропагандой в Красной Армии".

Виделся ли Гумилев с В. Г. Шведовым, который все это время также оставался на свободе и был убит при аресте на конспиративной квартире в Петрограде в тот *же самый день, 3 августа, когда был выписан ордер на арест поэта?*

Или Гумилев получил некую информацию, побудившую его к возобновлению работы с "пятерками", по каким-то иным, так и оставшимися неизвестными каналам?[122]

Все эти вопросы остаются без ответа.

По-видимому, Гумилев *был абсолютно уверен*, что В. Н. Таганцев его не выдаст. Даже когда в Петербурге уже открыто заговорили о том, что Таганцев "сдает", и Гумилева прямо предупреждали об опасности и предлагали бежать, он не поверил этому: "Благодарю вас, но бежать мне незачем"[123]. И, как это ни странно в контексте всего, что было выше сказано о роли В. Н. Таганцева в судьбе арестованных участников "профессорской группы" ПБО, **возможно, Гумилев в Таганцеве и *не* ошибался!**

Как явствует из следственного заключения, "дело гр. Гумилева Николая Степановича <…> возникло на основании показаний Таганцева от 6.8.1921 г."[124]. В этот день, 6 августа 1921 года, Владимир Николаевич Таганцев действительно дал показания против Гумилева: "Гражданин Гумилев утверждал курьеру финской контрразведки Герману, что он, Гумилев, связан с группой интеллигентов…" и т. д., — и копия протокола, на который ссылается заключение, действительно приложена к "Делу № 214224"[125].

Но тогда получается, что В. Н. Таганцев начал "сдавать" Гумилева *уже после того, как Николай Степанович был арестован!*

Ордер на арест поэта был выписан **3 августа 1921** года, однако в нем был указан адрес прописки, т. е. квартиры на Преображенской улице, 5/7. Прибыв по этому адресу, чекисты застали квартиру пустой и должны были потратить какое-то время на установление местонахождения Гумилева. Сам же арест состоялся **глубокой ночью с 3 на 4 августа**. Гумилев был арестован в своей комнате в Доме Искусств, препровожден в здание ПетроЧК на Гороховой улице, а затем — в камеру № 77 Петроградского дома предварительного заключения на Шпалерной, 25. Эта камера и стала его последним петроградским адресом.

То есть **в тот момент, когда В. Н. Таганцев начал говорить о связях Гумилева с ПБО, поэт уже три дня находился под арестом!** Но тогда остается неясным, **на основании чего же был произведен сам арест!** Документы, мотивирующие действия анонимных сотрудников ПетроЧК (подписей на бланке ордера № 1071 нет) в материалах "Дела Гумилева", дошедших до наших дней, отсутствуют.

Но они были!

9 февраля 1968 года П. Н. Лукницкий, хлопотавший (безуспешно) о реабилитации Гумилева, имел встречу с заместителем Генерального прокурора М. П. Малеевым, о чем оставил краткую записку. В ходе беседы Лукницкий задал вопрос, не упоминаются ли в материалах "Дела № 214224" имена В. А. Павлова или С. А. Колбасьева "в числе тех, кто писал заявления на Н<иколая> С<тепановича>", и получил совершенно неожиданный ответ:

— **Есть два заявления. Но имена — другие**.

"Я не счел удобным спрашивать", — пишет Лукницкий[126].

По-видимому после этого разговора два листа с доносами, ставшими основанием для решения об аресте поэта, были из "Дела" просто изъяты…

И имена *настоящих* предателей Гумилева заслонила фигура несчастного Таганцева.

А между тем история с привлечением Гумилева к делу ПБО развивалась, как сейчас понятно, следующим образом.

Сведения о том, что великий поэт входит в число заговорщиков из "профессорской группы" ПБО, *Я. С. Агранов получил не от В. Н. Таганцева, а из каких-то иных источников*, вероятно, в самом конце июля — начале августа 1921 года. По крайней мере, уже 2 августа чекисты начали "отрабатывать" адреса и связи поэта[127]. Затем, в ночь с 3 на 4 августа, поэт был арестован и доставлен на Гороховую, а затем — на Шпалерную. В течение двух дней — 4 и 5 августа — шли обыски в квартире на Преображенской и в Доме Искусств, где были устроены засады[128], а параллельно — шла некая, не отраженная в имеющихся на настоящий момент в материалах "Дела № 214224", "работа" как с новым фигурантом, так и, очевидно, с двумя "секретными сотрудниками", стараниями которых данный фигурант и был уличен в контрреволюционной деятельности. И лишь 6 августа Агранов выложил всю добытую информацию Таганцеву, уличив его в нарушении взятого им обязательства *"не утаивать ничего"*. Возможности для этого у него были самые широкие — вплоть до угрозы пытать жену и детей Таганцева прямо у него на глазах (по Петрограду ходили и такие слухи). По-

видимому Владимир Николаевич был прижат к стенке — и начал давать показания, которые и стали основанием для дошедшего до нас варианта "Дела Гумилева".

Бог ему судья!

В отличие от В. Н. Таганцева, **Гумилев в ходе всех допросов просто не назвал никаких реальных имен, кроме имен покойного Ю. П. Германа, самого Таганцева (с протоколом допроса которого, несомненно, был ознакомлен) и находящегося вне пределов досягаемости Б. Н. Башкирова-Верина**. Даже Шведов (о судьбе которого Гумилев мог не знать) упоминается им только под псевдонимом (Вячеславский), настоящую же фамилию Гумилев явно "отводит", как незнакомую. На допросе 18 августа, говоря о тех, кого он обещал возглавить в случае восстания в Петрограде, Гумилев упомянул "кучку прохожих" и анонимных "бывших офицеров"[129]. На допросе 20-го он особо уточнил, что, говоря с Вячеславским "о группе лиц, могущих принять участие в восстании, имел в виду не кого-нибудь определенного, а просто человек десять встречных знакомых, из числа бывших офицеров, способных в свою очередь соорганизовать и повести за собой добровольцев <…> Фамилий лиц я назвать не могу; потому что не имел в виду никого в отдельности, а просто думал встретить в нужный момент подходящих по убеждению мужественных и решительных людей"[130]. И, наконец, на последнем, предсмертном допросе 23 августа 1921 года, когда, возможно, ему было предложено, говоря словами В. С. Высоцкого, "или-или", Гумилев заявил: **"Никаких фамилий, могущих принести какую-нибудь пользу организации Таганцева путем установления между ними связей, я не знаю и потому назвать не могу"**[131].

Поэтому-то о его деятельности в качестве "руководителя пятерки" (или — "восьмерки", по утверждению Одоевцевой), если таковая имела место, мы и не можем сказать ничего определенно достоверного. Ни в "Деле Гумилева", ни в расстрельном заключении ни о чем подобном речи нет. Г. В. Иванов писал, что после ареста поэта некоторые его знакомые, которых он считал (впрочем, не имея о том *никаких конкретных сведений*) участниками "гумилевской пятерки", "были очень напуганы". "Но испуг их был напрасным, — заключает Иванов. — Никто из них не был арестован, все благополучно здравствуют: имена их были известны только ему одному…"[132].

XII

Мы сознательно стремились представить все возможные факты "конспиративной деятельности" Гумилева в 1920–1921 годах — и те, которые подтверждаются документально, и даже те, которые являются результатом гипотетической реконструкции, имеющей хоть какую-нибудь документальную основу Как нам кажется, основываясь на ныне известном круге источников, никакой другой информации, если не прибегать к совсем уж произвольным, фантастическим домыслам, к сказанному добавить нельзя.

Поэтому можно сделать вывод, что Гумилев, во-первых, **действительно участвовал** в реально имевшей место в Петрограде 1920–1921 годов антибольшевистской подпольной организации, именуемой ныне "таганцевским заговором".

Во-вторых, очевидно, что **статус Гумилева в антибольшевистском сопротивлении 1920–1921 годов был объективно весьма скромным** (это, с большой долей вероятности, можно отнести и ко всем участникам т. н. "профессорской группы" ПБО). Его **конкретные действия** в рамках общей деятельности организации (по крайней мере те действия, которые ныне доказуемы) **носили разовый, эпизодический характер**.

Иными словами, хотя Гумилев и считал в 1920–1921 годах возможной и необходимой для блага страны борьбу с коммунистическим режимом, — ни вождем, ни идеологом, ни даже активным участником антибольшевистского движения он не был.

Это, кстати, вполне соответствует его натуре, мало подходящей к работе профессионального подпольщика-конспиратора, неизбежно предполагающей в исполнителе некоторую долю цинизма и "нравственной эластичности". Таковым был даже Ю. П. Герман, которого В. Крейд справедливо считает наиболее близким по характеру к Гумилеву из всех "таганцевцев"[133]. Но и этот "конквистадор в панцире железном" в минуту откровенности вдруг обнаруживал малоприятную смесь бравады, мелодраматической истерии и какого-то болезненного нравственного декадентства в словах и поведении:

— Что-то в мире сломалось, и исправить нельзя. Веры нет… Вот я контрреволюционер, за контрреволюцию рискую по десять раз в день головой, за нее, вероятно, и погибну. Что же, думаешь ты, — я в контрреволюцию верю? Не больше, чем они — в революцию. И все-таки они победят. А мы… Что же ты не пьешь

коньяку? — перебивает он сам себя. — Икру ешь. Дай, я тебе намажу. Папирос бери с собой, больше бери, — по пайку таких не получишь. Жаль, что уже надо расставаться. Выйдем вместе — только из ворот в разные стороны[134].

Гумилева в такой ситуации представить сложно.

Да и не стал бы Гумилев взрывать памятники, подкидывать головые шашки под праздничные трибуны, втираться в доверие, стрелять из-за угла, казнить провокаторов и т. п. А без всего этого — какое же подполье? Следует полностью согласиться с характеристикой, прозвучавшей в одном из некрологов 1921 года: "Гумилев — и участие в заговоре, — это все равно что Зиновьев — и вызов на дуэль. Гумилев мог ехать в Африку охотиться на львов; мог поступить добровольцем в окопы, мог бы, если бы до того дошло, предупредить Зиновьева по телефону, что через час придет и убьет его, но Гумилев — заговорщик, Гумилев — конспиратор — неужели мы все сошли с ума?"[135]

> И если рыцарь послан в край далекий,
> За верность, честь и правду в бой вступить…

"Похоже, что и большинство рядовых чекистов, которые вели "дело ПБО", представляли себе роль знаменитого фигуранта таким же образом. М. Л. Слонимский вспоминал, что в конце двадцатых годов "сын поэта Константина Эрберга Сюнерберг", работавший в музее ГПУ, показывал ему имеющиеся в музее материалы о Таганцевском заговоре: "Он показал мне схему заговора, составленную ЧК по показаниям арестованных. Гумилеву отводилось, помнится, самое второстепенное место — работа среди интеллигенции, где-то на периферии"[136]. "Дело Гумилева" явно не воспринималось ПетроЧК украшением собственной истории. Недаром столь настойчива в гумилевских апокрифах 1930-х годов, распространяемых среди "вольняг" и заключенных, как это было тогда принято, агентурой с Литейного, 4, тема постоянно присутствующей "руки Москвы", упоминание о настойчивом давлении на петроградских чекистов со стороны Дзержинского, Менжинского, Уншлихта и т. д. Везде проскальзывает некий мотив, не скажем — пилатовский, а скорее — годуновский, в шаляпинско-оперном духе: "Не я, не я твой лиходей…". Нет, не гордилась ПетроЧК гумилевским расстрелом и вспоминать о нем не очень любила. Как чекисты начала 1920-х, относились к своей миссии в гумилевской эпопее без особого энтузиазма, а как к достаточно неприятной обязанности, — так и их преемники в последующие эпохи советской истории вспоминали о событиях на Ржевском полигоне, так сказать, без

огонька в глазах. Особого почета — даже среди своих же коллег — деяния в этой области не сулили.

Однако Гумилев был расстрелян. Мало того, именно Гумилев и члены "профессорской группы", а не лидеры и боевики ПБО оказались главными действующими лицами "Таганцевского заговора" в последующих советских исторических интерпретациях трагедии 1921 года.

Почему?

Расхожий ответ на этот вопрос многих, даже вполне компетентных, гумилевоведов до сих пор основывается на мнении о поголовной патологической кровожадности сотрудников ВЧК, расстреливавших без разбора всех, кто по каким-то причинам оказывался в поле их зрения. Более "умеренная" (и более доказуемо корректная) версия того же ответа указывает на практику бессудного расстрела заложников в годы "красного террора".

Однако связь "Таганцевского дела" именно с "красным террором" (если понимать последний не как метафору, относящуюся ко всему периоду правления коммунистического режима в России, а как конкретную историческую данность) очень проблематична, и профессиональные историки, обращавшиеся к "делу ПБО", прекрасно понимают это. М. Петров, например, указывал на то, что расстрел "таганцевцев" "не следует увязывать с красным террором. Еще 17 января 1920 года ВЦИК и СНК приняли постановление об отмене смертной казни"[137]. "… Как раз в 1921 году заговорщиков могли и не расстрелять! — пишет о том же Д. Фельдман. — Постановлением ВЦИК и Совнаркома от 17 января 1920 года высшая мера наказания в ряде случаев отменяется: "…Революционный пролетариат и революционное правительство Советской России с удовлетворением констатируют, что разгром вооруженных сил контрреволюции дает им возможность отложить в сторону оружие террора"[138].

Другими словами, в январе 1920 года вполне определенная, закрепленная в соответствующих постановлениях советского правительства **методика классовой борьбы, получившая название "красный террор"**, была постановлением же советского правительства **отменена**. Это, кстати, не было следствием нравственного просветления в умах коммунистических лидеров, а явилось вполне объяснимой политической необходимостью.

Все дело в том, что "красный террор" применялся как элемент политики РСФСР, стратегической целью которой в 1918–1919 годах был **экспорт мировой революции** в крупнейшие европейские страны, прежде всего — в Германию, переживавшую

после поражения в Мировой войне и унизительного, разорительного для ее экономики Версальского мира кризис, порождающий, как известно, "революционную ситуацию". Большевики, захватив с лета 1918 года единоличную власть в стране и создав III Интернационал, превратили Москву в "штаб мировой революции" и вплоть до 1920 года стремились экспортировать русскую революцию в Европу. 7 ноября 1918 года социалистической республикой была провозглашена Бавария, 10 января 1919 года — создана Бременская Советская Республика, а в Берлине шли бои между боевиками "Красного фронта" Карла Либкнехта и Розы Люксембург и правительственными войсками. 21 марта 1919 года Советской республикой стала Венгрия. И хотя на этом натиск III Интернационала захлебнулся и советские режимы в Европе были подавлены, страх перед возобновлением "мировой революции" заставил страны "большой Антанты" (прежде всего — Францию) перейти к политике жесткой политической и экономической блокады РСФСР.

К осени 1919 года сроки "мировой революции" в планах III Интернационала были пересмотрены — и начался процесс пересмотра внутренней и внешней политики на основе ленинской идеи о *"временном сосуществовании двух систем"*. "Красный террор" в качестве внутренней политики РКП (б) и СНК для такой внешнеполитической ситуации явно не подходил. Он был хорош тогда, когда коммунистические вожди России не видели необходимости считаться с европейским общественным мнением, ибо планировали скорый захват власти в Европе III Интернационалом. Сейчас же следовало начинать процесс внешнеполитического самоопределения РСФСР, на очереди стояла дипломатическая (а не военная) борьба за признание Советской России. Варварские методы борьбы с внутренними политическими противниками, основанные на "классовой целесообразности" и "революционной совести", в таких условиях были неуместными.

Сотрудники ВЧК (равно как и других силовых структур РСФСР) должны восприниматься исследователями, прежде всего, как чиновники, выполняющие правительственные распоряжения. Это никак не отрицает наличия в их рядах патологических душегубов, получавших особое, личное удовольствие от карательно-пыточной работы. Но, в целом, террористический характер деятельности чекистов в 1918–1919 годах, принесший им такую страшную "славу", был результатом точного выполнения ими руководящих указаний коммунистического режима. С января 1920 года указания меняются, — соответственно, меняется и характер, и, главное,

методика деятельности ВЧК.

…И все-таки и Гумилев, и вся "профессорская группа" ПБО попадает под расстрельный приговор, несмотря на очевидную даже для самих чекистов незначительность их "преступных деяний"! В этой, последней из всех разнообразных составляющих *тайны гибели Гумилева* следует разобраться подробнее.

Ведь, как мы помним, именно в январе 1920 года Якова Сауловича Агранова окончательно переводят из структур Совнаркома в структуры политической полиции. Это, разумеется, не понижение, ибо он становится особоуполномоченным особого отдела (ОО) ВЧК…

XIII

Как уже говорилось, легализация имени Гумилева, открытая публикация его стихов в СССР всегда были тесно связаны с необходимостью юридической реабилитации поэта. Целый ряд видных советских юристов и общественных деятелей, начиная с хрущевской "оттепели" 1960-х и до середины 1980-х годов, настаивали на пересмотре "Дела Гумилева", так сказать, в "позитивном ключе" (и, соответственно, снятии запрета на публикацию его произведений). Успехом в конце концов увенчалась попытка заслуженного юриста РСФСР Г. А. Терехова. В 1987 году в № 12 журнала "Новый мир" появилась его статья *"Возвращаясь к делу Н. С. Гумилева",* ставшая знаковым рубежом в истории отечественного гумилевоведения.

"Я ознакомился с делом Гумилева, будучи прокурором в должности старшего помощника Генерального прокурора СССР и являясь членом коллегии Прокуратуры СССР, — писал Г. А. Терехов. — По делу установлено, что Гумилев Н. С. действительно совершил преступление, но вовсе не контрреволюционное, которое в настоящее время относится к роду особо опасных государственных преступлений, а так называемое сейчас иное государственное преступление, а именно — не донес органам советской власти, что ему предлагали вступить в заговорщицкую офицерскую организацию, от чего он категорически отказался. <…> Мотивы поведения Гумилева зафиксированы в протоколе его допроса: пытался его вовлечь в антисоветскую организацию его друг, с которым он учился и был на фронте. Предрассудки дворянской офицерской чести, как он заявил, не позволили ему пойти "с доносом".

Совершенное Гумилевым преступление по советскому уголовному праву называется "**прикосновенность к преступлению**" и по Уголовному кодексу РСФСР ныне наказывается по ст. 88 (1) УК РСФСР **лишением свободы на срок от одного до трех лет или исправительными работами до двух лет.** ***Соучастием недонесение по закону не является***.

В настоящее время по закону и исходя из требований презумпции невиновности Гумилев не может признаваться виновным в преступлении, которое **не было подтверждено материалами того уголовного дела, по которому он был осужден**"[139].

Я очень хорошо помню, какое странное, *двойственное* впечатление произвела тогда, на заре "перестройки", статья Терехова на меня и мне подобных "гумилеволюбов" и

гумилевоведов, уже предвкушающих радость открытого общения с книгами Николая Степановича.

С одной стороны, было ясно, что эта небольшая статья, появившаяся, уж наверное, неспроста, а после многочисленных согласований "в верхах", и есть долгожданная "индульгенция", выданная опальному поэту (и, действительно, с этого момента вся "диссидентская романтика", заботливо созидаемая и поддерживаемая агентами и сотрудниками госбезопасности в среде хранителей и почитателей наследия Гумилева, в одночасье испарилась).

С другой стороны, неприятно поразила мало кому понятная юридическая казуистика. *Мы ожидали чего-то более простого и ясного:* заговора или вовсе не было (инсценировка ВЧК), или же, если ПБО все-таки существовала, — Гумилев, по крайней мере, никакого касательства к ней не имел.

Г. А. Терехов, используя свой безусловный авторитет посвященного в тайны архивов госбезопасности, предлагал какую-то куда более сложную версию: **Гумилев осужден несправедливо, но не потому, что был невиновен, а потому, что наказание было неадекватно его вине**…

Но тогда сразу повисали в воздухе многочисленные новые вопросы, на которые статья ответа не давала.

Если заговор все-таки был, и вина Гумилева заключалась только в "недонесении" о нем, — то как же относиться к тем обвинениям, которые перечислены в общеизвестном "списке расстрелянных" ("содействие составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещание связать с организацией группу интеллигентов, получение денег на технические надобности")? Являются ли они клеветой на поэта? Но тогда почему об этом ничего не сказано?

Зачем специально оговаривать отличие "соучастия" от "недонесения", если речь идет именно и только о "недонесении"?

Почему присутствует апелляция к презумпции невиновности и накладывается тем самым юридическое "табу" на некие данные, не содержащиеся в деле Гумилева?

И какие это данные?

И где они содержатся?

Словом, вопросов было много[140].

Терехов молчал, как сфинкс. Очевидно, обеспокоенные этим молчанием Ф. Перченок и Д. Фельдман, в том же "Новом мире", в 1990 году, так сказать, "от имени и по поручению" всех отечественных гумилевоведов перечислили упомянутые вопросы и потребовали разъяснений.

Терехов продолжал молчать.

А потом *политическая* актуальность "реабилитации Гумилева" попросту изжила себя. Официальный "Протест по делу Николая Гумилева", заявленный в сентябре 1991 года Генеральным прокурором СССР Н. Трубиным[141], уже воспринимался как некий символический акт, ибо возвращение к каким-либо официальным запретам творчества Гумилева "за контрреволюцию" было теперь невозможно. Завершалась прежняя политическая эпоха, и "тайна гибели Гумилева" переставала быть "жгущимся в обе стороны жупелом" (выражение В. В. Розанова), — вместе со всем конфликтом "красных" и "белых". И те, и другие с их правдой, неправотой и взаимными грехами становились теперь лишь данностью российской истории.

Но, перестав быть для читателей — особенно российских — политической необходимостью, раскрытие *тайны гибели Гумилева* продолжает оставаться необходимостью нравственной и гражданской — просто чтобы такого больше не повторилось.

Повторим еще раз: **он подарил своим читателям не только свою жизнь, но и свою смерть**. Один из многих смыслов этого бесценного подарка заключается в том, что Николай Гумилев взял на себя *опытное* бремя Ржевского полигона, избавив, таким образом, от исторической *необходимости* этого бремени всех своих последующих читателей. По крайней мере, у них теперь есть возможность исследовать Ржевский полигон, не только глядя в глаза палачам на краю расстрельной ямы, а "заочно", мысленно.

И вслушиваться в его молчание.

XIV

В 1987 году, в статье мудрого, хорошо понимающего, что он живет в стране не только с непредсказуемым прошлым, но и с еще более непредсказуемым будущим Г. А. Терехова сознательно не был упомянут один исторический нюанс, который, *в крайнем случае*, оказался действительно неотразимым аргументом в защиту Гумилева в глазах коммунистов.

"Крайний случай", к счастью не наступил, зато обнародование этого аргумента позволяет снять завесу молчания с самой жуткой и сокровенной завязи "дела ПБО".

Схема юридической "реабилитации" Гумилева, предложенная в 1987 году Тереховым, — просто *буквальное повторение схемы* юридической реабилитации другого участника ПБО, М. К. Названова, предложенной в 1921 году Яковом Сауловичем Аграновым и Владимиром Ильичем Ульяновым (Лениным).

"По этому же делу <ПБО>, — писал Д. Л. Голинков, — В. И. Ленин рассматривал <…> ходатайство об освобождении инженера-технолога, консультанта Госплана М. К. Названова, *приговоренного Петроградской губчека к расстрелу*. Вина Названова заключалась в том, что весною 1921 года он через Н. И. Ястребова свел Таганцева с антисоветской группой "уполномоченных представителей фабрик и заводов г. Петрограда". В. И. Ленин получил прошение отца Названова о смягчении участи сына, а также положительные характеристики о работе Названова со стороны Л. Б. Красина, председателя Госплана Г. М. Кржижановского и двух рабочих — членов ЦК профсоюза рабочих сахарной промышленности. Кржижановский рассказал Ленину о том, что Названов раньше был антисоветски настроен, но весной или летом 1921 года (очевидно, после совершения Названовым преступления) он, Кржижановский, заметил у Названова перелом в настроениях и взял его на работу в Госплан. Владимир Ильич, таким образом, убедился в том, что Названов не представлял опасности для Советской власти, и потребовал приостановить исполнение Петроградской губчека и рассмотреть вопрос о судьбе Названова на заседании Политбюро ЦК РКП(б). Со своей стороны Владимир Ильич предложил "*отменить приговор Петрогубчека и применить приговор, предложенный Аграновым*, т. е. 2 года с допущением условного освобождения" (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 53, стр. 255). Политбюро ЦК РКП(б) согласилось с этим предложением"[142].

Итак, М. К. Названов преступление совершил, в заговоре

участвовал и **получил уже смертный приговор**. Но его высокий начальник и покровитель Г. М. Кржижановский считает, что Названов — политический путаник, в заговор попал по недомыслию. Г. М. Кржижановский характеризует своего приятеля и подчиненного положительно. Кржижановского поддерживает нарком внешней торговли Л. Б. Красин. Дело доходит до самого верха, до главы советского правительства, который склонен поверить Кржижановскому и Красину и сам считает, что, несмотря на свои прошлые художества, Названов "не представляет опасности для Советской власти".

Ну и — **амнистировать** Названова, а ведение дела против него прекратить! Чего же проще? Правом амнистии советская власть пользовалась в отношении (если была на то политическая необходимость) куда более серьезных преступников, чем Названов, — и до 1921 года, и после.

Но В. И. Ленин идет другим путем!

В. И. Ленин консультируется с Аграновым, и Яков Саулович предлагает **заменить приговор**. Ленин с Аграновым полностью согласен. Ибо результат тот же, что и в случае амнистии, — Названова отпускают.

Выходит, и Агранов, и Ленин прекрасно понимали, что **дело в отношении Названова изначально было построено таким образом, что за его преступление *равно законными* наказаниями были и смертная казнь**, и… два года исправительных работ (с возможностью условного освобождения). Смертная казнь не понравилась Глебу Максимилиановичу и Леониду Борисовичу — что ж, не будем их расстраивать, приговорим Названова к двум годам исправработ (условно).

Вот это альтернатива!!!

М. К. Названов осуществлял связь Таганцева с антисоветской группой "уполномоченных представителей фабрик и заводов г. Петрограда" — и получил в итоге **два года исправительных работ (условно**).

Его "подельник", заводской электрик А. С. Векк, "снабдил закупщика организации веревками и солью для обмена на продукты для членов организации" — и был **расстрелян**[143].

Как мы видим, **преступные действия вполне сопоставимые** (соль, заметим, в Петрограде эпохи "военного коммунизма" была валютой, имеющей хождение наравне с золотом), **а вот приговор…**

Но как такое возможно?!!

Возможно! И умница Терехов, единственный среди наивно-восторженных энтузиастов "перестроечных" 1980-х, не понаслышке знакомый с реальными масштабами и

возможностями советской юридической казуистики, выволок-таки в своем журнальном "письме" на свет, *на всеобщее обозрение* это жуткое, секретное оружие КГБ, этого Минотавра, порожденного Яковом Аграновым *именно в ходе "Таганцевского расследования" 1921 года*. Правда, оставил это без комментариев. Кто знает, тот поймет. И без того сказано слишком много:

СОВЕРШЕННОЕ ГУМИЛЕВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПО СОВЕТСКОМУ УГОЛОВНОМУ ПРАВУ НАЗЫВАЕТСЯ "**ПРИКОСНОВЕННОСТЬ** К ПРЕСТУПЛЕНИЮ" И ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РСФСР НЫНЕ НАКАЗЫВАЕТСЯ ПО СТ. 88 (1) УК РСФСР ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ОТ ОДНОГО ДО ТРЕХ ЛЕТ, ИЛИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ ДО ДВУХ ЛЕТ. **СОУЧАСТИЕМ** НЕДОНЕСЕНИЕ ПО ЗАКОНУ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ.

XV

Помню, как, вчитываясь в загадочный текст странной тереховской "индульгенции", мы недоумевали над фразой: "**Соучастием** недонесение по закону не является".

Недонесение — один из видов прикосновенности к преступлению (это знает любой обладающий элементарными познаниями в области основ права человек). Конечно, *прикосновенность не является соучастием.* А мошенничество, например, не является убийством. А алгебра — геометрией. А Санкт-Петербург — не Токио. А женщина — не мужчина. Зачем об этом напоминать?

"..Допустим, Гумилев **действительно** уличен только в недонесении, — удивлялся Д. Фельдман. — Что же помешало юристу указать, какой закон определил судьбу поэта? Попытаемся разобраться.

Вероятно, в данном случае следует вспомнить постановление о "красном терроре", принятое Советом народных комиссаров 5 сентября 1918 года. Этот декрет гласил: "Совет народных комиссаров, заслушав доклад Председателя всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности о деятельности этой Комиссии, находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью, <…> что необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях, *что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам*, что необходимо опубликовать имена всех расстрелянных, а также основание применения к ним этой меры".

Список расстрелянных с указанием "основания применения к ним этой меры" и в самом деле опубликован. Правда, мы предполагаем, что в газету поступили ошибочные сведения, а Гумилев виновен *только* в недонесении. Считался ли он в этом случае "прикосновенным" и как вообще тогда понималась "прикосновенность" к заговору?

В дореволюционном уголовном праве <…> различали три типа "прикосновенных". Таковыми считали и недоносителей — тех, кто, зная об умышленном или уже содеянном преступлении, имел возможность донести о том до сведения правительства, но пренебрегал сей обязанностью. Вероятно, и в 1918 году принималась эта трактовка — другой не было. Но в "Руководящих началах по уголовному праву РСФСР" (постановление Народного

комиссариата юстиции от 28 декабря 1919 года) о "прикосновенных" уже ничего нет, зато подробно сказано о "пособниках".

Следовательно, если иметь в виду постановление о "красном терроре", то не так важно, доказаны или нет предъявленные Гумилеву обвинения. "Прикосновенным" (или "пособником") его бы все равно признали, и приговор был бы тот же"[144].

Но прикосновенность **не** является пособничеством (т. е. одним из видов соучастия)! Это разные вещи. В том-то все и дело!

Постановление Народного комиссариата юстиции от 28 декабря 1919 года — это создание юридической базы для последующего, уже известного нам январского постановления ВЦИК и Совнаркома *о приостановлении "красного террора" (17 января 1920 года).* Это создание юридической базы для грядущего "периода мирного сосуществования систем", для "социализма с человеческим лицом".

В эпоху "военного коммунизма" **расстреливали за "прикосновенность". Это — варварство**.

Теперь же, после вступления в действие "Руководящих начал по уголовному праву РСФСР", **расстреливать стали за "пособничество**" (т. е. за "соучастие"). Это хотя и круто, но — уже в пределах общеевропейского "правового поля". Ведь речь идет *о соучастии в террористических актах, в вооруженной борьбе против государства*. Правовое европейское сознание, решительно отторгавшее юридическую практику "красного террора", вполне могло вместить предложенную Наркоматом юстиции в декабре 1919 года "смягченную" формулу карательных действий ВЧК. Но означал ли выход указанных постановлений Наркомата юстиции, Совнаркома и ВЦИК отказ "диктатуры пролетариата" от внутриполитического террора не на словах, *а на деле*?

Нет!

В процессе установления степени вины преступника между "прикосновенностью" и "соучастием" возникает тончайшая диалектическая связь, основанная на необходимости установления мотивов его действий. *За одни и те же действия* при разной трактовке этих мотивов преступнику *можно инкриминировать и прикосновенность, и соучастие*! В этом-то и заключается гениально простое и эффективное оружие "цивилизованных" политических репрессий, апробированное Яковом Аграновым в 1921 году.

Чтобы понять ослепительную красоту аграновского замысла каждый читатель может смоделировать следующую ситуацию.

Допустим, что ваш друг в доверительном разговоре сказал

вам, что он является членом террористической организации, целям которой вы (хотя бы отчасти) сочувствуете. Разговор этот, разумеется, остался между вами. Представим затем, что по просьбе вашего друга вы исполнили некое мелкое поручение. А через какое-то время, когда вы, в общем, и позабыли о давней дружеской встрече, та организация, в которой ваш друг состоял, совершила террористический акт и оказалась в эпицентре полицейского расследования.

Что из этого следует?

Во-первых, вы *оказались преступником*, ибо не донесли на вашего друга в органы безопасности и тем самым содействовали осуществлению преступления.

Но не это самое интересное.

Во-вторых**, у государственных структур, ведущих дело, появляется мощное орудие давления на вас, причем — давления, осуществляемого на совершенно законном основании**.

Именно здесь в полной мере реализуется диалектика понятий **"прикосновенность" и "соучастие".**

Теперь от следователя и суда (и, разумеется, от тех, кто стоит за ним) полностью зависит то, каким образом будут **интерпретированы** ваши действия.

Если ваше поведение (недонесение и мелкое содействие) будет признано результатом "ложно понятого" чувства дружеского долга ("предрассудками дворянской офицерской чести, не позволяющими пойти с доносом") или хотя бы просто — следствием врожденной глупости, то вы окажетесь *прикосновенным* к преступлению и получите в результате два года исправительных работ (возможно — условно, как в случае с М. К. Названовым).

Если же ваше поведение, с точки зрения следователя, было мотивировано сознательным неприятием власти и желанием нанести ей ущерб, вы становитесь *соучастником* преступления и получите в результате **расстрел**, даже если ваши действия и ограничиваются "снабжением одного из членов организации веревками и солью" (как в случае с А. С. Век-ком).

К чему зверские ужасы "красного террора" и "допросы повышенной степени"? Следователю ВЧК достаточно просто вежливо объяснить подследственному разницу между наказанием за "прикосновенность" и за "соучастие", а потом намекнуть, что **чекистам теперь решать, кто "сообщник" заговорщиков, а кто лишь "прикосновенен" к ним…**

XVI

В 1921 году, в самый разгар мощной трансформации всего политического курса советской власти, в канун объявления НЭПа и признания РСФСР Западом, ВЧК отрабатывала новые методики работы с интеллигенцией. Аграновская "модель" казалась самой перспективной, и он, очевидно с санкции самых "верхов", получил "добро" на ее апробацию.

Уместно вспомнить, что весной — летом 1921 года Агранов в качестве особоуполномоченного особого отдела ВЧК курирует расследование не только "петроградского", но и "себежского" заговоров. "Дела" эти — близнецы-братья, различающиеся только в масштабе.

И в Себеже, и в Петрограде были раскрыты контрреволюционные подпольные организации, руководимые на местах эмиссарами заграничных центров (в Себеже — генерал Ф. И. Балабин, в Петрограде — Ю. П. Герман). Обе организации имели местный актив, боевые группы и разветвленные конспиративно-явочные структуры, в том числе — сеть складов оружия, взрывчатки и антикоммунистической агитационной литературы. И, главное, и в Себеже, и в Петрограде **были выявлены большие группы потенциально "прикосновенной" к деятельности этих организаций местной интеллигенции.** Именно из-за этого последнего обстоятельства "себежское" и "петроградское" дела были идеальным полигоном для того "эксперимента", который должен был провести Агранов, и потому были выданы ему Москвой на откуп.

С Себежем, правда, вышел сбой. Уже после начала арестов (в списках выявленных членов организации было 99 человек: учителя, специалисты сельского хозяйства, врачи, кадровые военные, служители культа) неопровержимо выяснилось, что собственно сама "организация" является вымыслом местного карьериста Г. К. Павловича, решившего таким образом заручиться поддержкой и благодарностью советской власти. Выяснилось это самым примитивным образом: по указанным адресам не оказалось ни оружия, ни динамита, ни даже листовок. Себежские чекисты и московский уполномоченный Р. А. Пиляр проявили принципиальность, предали это гласности… и 11 человек арестованных пришлось срочно выпустить, а провокатора Павловича вместо "благодарности" — показательно расстрелять. Операция "Вихрь" была слишком важна ("первостепенна по своей важности", как выразился сам Агранов), чтобы не учитывать чистоту экспериментальных условий и вместо реального заговора

прикосновенить "подопытную" себежскую интеллигенцию к какой-то провокаторской туфте[145].

Ну что же, первый блин комом. Зато в Петрограде все складывалось для Агранова как нельзя лучше. Даже та обстановка, которую он застал в июне 1921 года в ПетрогубЧК, споспешествовала задуманной операции. Здесь вовсю разгорелись страсти, связанные с обострением традиционного противостояния двух столиц. Только что "москвичи" публично обвинили "питерцев" (и прежде всего конечно, питерских чекистов) в том, что они "прозевали" кронштадтский мятеж. Амбициозный и обидчивый глава "Северной коммуны" Г. Е. Зиновьев в марте 1921 года провел кадровую ревизию ПетрогубЧК, жестко указав на необходимость скорейшей реабилитации. Председателем ПетрогубЧК стал никому не известный, но преданный Зиновьеву душой и телом Б. А. Семенов (говорили, что он начинал свою советскую карьеру то ли лакеем, то ли парикмахером в зиновьевской свите). Семенов всегда был готов выполнить любое задание "шефа" любой ценой. Никакими другими способностями он не обладал.

Интеллектуальные и волевые качества Семенова не просто уступали аграновским, — они были несопоставимы. Одного взгляда на грядущее "поле боя" было для Агранова достаточно, чтобы понять, что правдолюбцев, подобных себежским, здесь опасаться не приходится, и "питерские товарищи" заранее готовы закрыть глаза на возможные странности в поведении "московского гостя" — был бы соответствующий результат.

С другой стороны, Семенов был глуп и необразован, но дисциплинирован. С точки зрения маккивеалиста Агранова, Семенов был идеальным кандидатом на роль "мавра", который, сделав свое дело, ко всеобщему удовольствию, уйдет.

Б. А. Семенов действительно оказался образцовым "мавром". В то, что творилось в июне — октябре 1921 года (время аграновской командировки в Петроград) во вверенном ему учреждении, он не вникал, да и не смог бы вникнуть при всем своем желании. В очерке Н. М. Волковысского "Посылающие на расстрел" Семенов выведен полным тупицей и ничтожеством, не имеющим ни малейшего представления о "таганцевском деле" и поминутно справляющимся по телефону (очевидно — у "самого" Якова Сауловича) о том, какие ответы ему нужно давать представителям Дома литераторов и Дома Искусств[146].

Однако именно на Б. А. Семенова легла ответственность за все кошмары "дела ПБО". Именно он зачитал 31 августа 1921 года с трибуны Петросовета печально знаменитый "отчет о проделанной работе", содержащий "список расстрелянных", и был

в конце концов надо полагать, с подачи того же Агранова, как кровавый клоп, с азартным смаком и не без удовольствия раздавлен 15 октября 1921 года лично вождем: "Т. Угланов. Посылаю Вам и Комарову это **секретно**. Имейте в виду, что это постановлено до приезда комиссии Каменев + Орджоникидзе + Залуцкий и независимо от нее. Петрогубчека негодна, не на высоте задачи, не умна. Надо найти лучших. С ком. приветом Ленин"[147].

Ленинский "ком. привет" т. Угланов Семенову передал: тот подал в отставку и был с позором выставлен из начальничьего кабинета; позже он был посажен и в 1930-х годах, как водится, — расстрелян [148].

Но летом 1921 года холуйской энергии, доходящей до "административного восторга", Семенову было не занимать, благо ПетрогубЧК сама рвалась в дело, чтобы взять реванш за Кронштадт. "Для чего, вы думаете, была принесена в жертву питерская гекатомба? — посмеивался в доверительной беседе В. Р. Менжинский. — Вы, может быть, полагаете, что это необходимо испорченным общим развалом жрецам коммунистического Молоха? Вовсе нет. У нас ведь стерлась всякая разница между возможным и невозможным, а поэтому Гумилев, Лазаревский, Таганцев, Тихвинский были пущены "в расход", как цинично у нас это называется, только для того, чтобы напугать москвичей"[149]. Эта трактовка событий, вполне достойная декадентствующего "эстета от большевизма" (как мы помним, именно Менжинский дал Таганцеву гарантии благополучного исхода в случае "чистосердечного признания"), в общем, верна, но — лишь в первом, поверхностном, "питерском" приближении.

В отличие от животной искренности в действиях обиженных Семенова и К°, действия стоящего за их спинами Я. С. Агранова были продиктованы стратегическими соображениями глобальной политики III Интернационала.

XVII

Наученный горьким опытом Себежа, Агранов не торопился с арестами фигурантов для будущего, главного для него этапа расследования. И только тогда, когда со всей очевидностью стало ясно, что группа, созданная Ю. П. Германом и В. Г. Шведовым, — не блеф очередного авантюриста, дождавшись, пока ответственные лица ПетрогубЧК официально отчитаются за проделанную работу (устами все того же Семенова), Агранов делает стремительный рывок — и мертвой хваткой вцепляется в Таганцева.

С этого момента и подследственные, и даже рядовые питерские чекисты, разумеется, не посвященные в замысел Агранова, с недоумением и страхом начинают замечать странную, невиданную метаморфозу в проведении следствия и полное смещение акцентов в выборе главных фигурантов дела.

Чекисты, уже отрапортовавшие Москве о победном разгроме заговора и уже вычертившие для истории свои отчетные "схемы", где, как мы помним, Гумилев занимал третьестепенное место на глухой периферии, вообще не понимают, зачем персонажей этой "периферии" Агранов вновь и вновь начинает отрабатывать с таким пристрастием, только затягивая завершение вполне оконченного дела. С этими интеллигентами и так давно все ясно! Полтора года назад им грозила бы стенка, а в гуманном настоящем максимум, что можно им "предложить", — два года лагерей. Овчинка явно не стоит выделки…

Невольное лирическое отступление: странно подумать, какой была бы отечественная история и культура, не явись в мае 1921 года в Петроград вдохновенный Агранов! Никакого "таганцевского заговора" не было бы и в помине. Был бы заговор "германо-шведовский", в котором Таганцев пострадал бы, конечно, но почти наверняка "в виду потепления международной обстановки", расстрела бы избежал… и канул в летейские воды чекистских и научных архивов. А вот Гумилев…

Но история не знает сослагательного наклонения.

…Подследственные "таганцевцы" (возвращаемся к нашему повествованию) — прежде всего прибывающие на Гороховую, 2, деятели "профессорской группы", — становятся первыми в российской истории XX века жертвами аграновского Минотавра. Их гибель неизбежна, ибо они еще живут старыми представлениями о следственной логике и, стараясь избежать худшего, сами роют себе могилу Ведь и Гумилев, как мы уже могли понять, не собирался сдаваться без боя и с самого первого

допроса выстраивал свою, весьма эффективную в предшествующую, "доаграновскую" эпоху отечественной юриспруденции, линию защиты.

Как всякий нормальный традиционно мыслящий человек, Николай Степанович резонно полагал, что наибольшую опасность для него представляет обнаружение чекистами фактов его контрреволюционной **деятельности** — участие в рабочей "волынке", написание текста воззвания, распространение антикоммунистической агитационной литературы и вербовка участников "пятерки".

С другой стороны, "контрреволюционные **намерения**" казались ему неизмеримо менее опасными с точки зрения уголовной ответственности. Ведь "красный террор" кончился, и расстрел теперь угрожает только **реальным** соучастникам заговорщиков. Так, кстати, мыслили почти все фигуранты "профессорской группы". В частности, близкие В. Н. Таганцеву люди (и, в том числе, *великий отец-юрист*) отнеслись вначале к его аресту достаточно спокойно, ибо знали, что "речь шла лишь о возможности двухгодичного заключения. Его виновность ни в чем <конкретном> не была доказана. <…> Двухлетний срок в "красном" Петрограде всем казался детским, даже апостолу судебной справедливости криминалисту Н. С. Таганцеву"[150].

Тактика, избранная Гумилевым при ответах на вопросы следователя: отрицать все, связанное с какими-либо **действиями** и, если не представится возможность отрицать **намерения**, — признавать их, упирая на то, что в настоящее время Николай Степанович давно "предал забвению" крамольные заблуждения, "резко изменил свое отношение к Советской власти" и "чувствует себя по отношению к ней виновным"[151]. О степени искренности данных заявлений судить сложно, но, разумеется, они манифестировали бы "чистосердечное раскаяние", которое является, как известно, "смягчающим обстоятельством" при вынесении приговора.

Возможности отрицать "контрреволюционные намерения" после того, как его ознакомили с показаниями В. Н. Таганцева, Николаю Степановичу не представилось. В остальном же он старается строго придерживаться избранной им линии защиты. И ему это удалось. Во всех материалах "Дела" Гумилев предстает **сугубо "страдательной" и пассивной стороной**: к нему сами приходят Герман, "неизвестная дама" от Верина — Башкирова, Шведов. Он только говорит с ними, допуская (к его глубокому *нынешнему* сожалению) враждебные "по отношению к существующей в России власти" высказывания и соглашаясь ("что являлось легкомыслием с моей стороны") осуществить в будущем

какие-то "контрреволюционные акции".

Ни о каких "волынках" и "пятерках" — ни полслова. Составление и распространение листовок — и есть те нехорошие намерения, которые (увы!) Гумилев имел, но (к счастью!) не осуществил.

При любом другом раскладе, в отсутствие *"фактора Агранова", имея **такое** дело, с **таким*** допросным и доказательным материалом, *он переиграл бы следствие*[152] и "выбил" бы себе желанный "детский срок" в два года лагерей (а то и отделался бы условным наказанием, благо, забегая вперед, скажем, что "высоких покровителей" у него было уж никак не меньше, чем у Названова).

Но "фактор Агранова", очевидно, окончательно дезавуировавшего к августу 1921 г. восторженного придурка Семенова и ставшего на те краткие августовские недели, когда решалась судьба "профессорской группы" ПБО, настоящим "серым кардиналом" ПетрогубЧК, к несчастью, присутствовал. Питерские чекисты, руководствуясь предельно четкими и категоричными указаниями Якова Сауловича, действовали по новым, неожиданным и неотразимым правилам игры.

Согласно этим правилам, сотрудники, расследующие дела участников "профессорской группы", должны были всецело сосредоточиться на решении двух задач:

1. Они должны были установить *факт прикосновенности* подследственного к заговору и

2. Установить *мотивы* этой прикосновенности, имея в виду возможность последующей интерпретации ее как соучастия (сообщничества).

Это им блестяще удалось, не без невольной помощи самого Гумилева. Ведь, с аграновской, "нетрадиционной" точки зрения, он своими показаниями буквально сам затягивал петлю на собственной шее. Действительно, Гумилев сам показал, что он в разговоре со Шведовым-Вячеславским "согласился на выступление", "выразил согласие на написание контрреволюционных стихов", спорил с ним о выборе лучшего "пути, по которому совершается переворот". Он сам признался, что готов был "принять участие в восстании, если бы оно перекинулось в Петроград, и вел по этому поводу разговоры с Вячеславским". *После таких признаний вопрос о "прикосновенности" Гумилева к заговору решался сам собой.*

Более того, такие показания уже почти решали и вторую задачу. Гумилев не только знал о заговоре и не донес об этом, но и мотивы его недонесения не ограничивались только субъективно-нравственными и личностными аспектами, вроде

"офицерской чести" или "политической наивности". Предприятию Германа и Шведова он, судя по сказанному, несомненно сочувствовал. **А это и значит**, **что "прикосновенность" может быть без всяких противоречий*, путем истолкования мотивов,* превращена в "соучастие".**

Теперь дело оставалось за обнаружением каких-либо **улик, подтверждающих правоту этой мотивации.**

XVIII

Над той доказательной базой, которая собрана в "Деле Гумилева", над теми документами, которые были отобраны следователями как улики, принято смеяться. И действительно можно было бы ожидать, что в "шагреневых переплетах" "Дела № 214224" обнаружатся: кронштадтская прокламация, написанная рукой Гумилева, свидетельские показания работниц Трубного завода, рассказывающие о зажигательных выступлениях поэта во время февральских "волынок" (с подробным описанием его маскарадного "пролетарского" костюма) и списки участников сформированных им из насельников Дома Искусств "пятерок".

"Почему не были опрошены его близкие, его мать, его жена, его друзья, люди, с которыми он встречался в последние дни перед арестом?" — недоумевает первый независимый читатель "Дела" — сын П. Н. Лукницкого С. П. Лукницкий[153]. "Странное" впечатление производят 107 листов "Дела" и на О. Хлебникова, которого С. П. Лукницкий ознакомил с результатами своей архивной работы. "Чего только нет в "Деле Гумилева"! И приглашение участвовать в поэтическом вечере к нему подшито, и членский билет "Дома Искусств" на 1920 год, и интимные записки со стершимся карандашным текстом… <…> Начиная с листа № 31 — подшитые к делу записки различных литераторов Гумилеву с просьбой о встрече, клочки бумаги, на которых поэт что-то помечал для памяти. Оказалась в деле и трогательная записка жены на смятой папиросной бумаге:

Лист № 48.

"Дорогой Котик конфет ветчины не купила, ешь колбасу не сердись. Кушай больше, в кухне хлеб, каша, пей все молоко, ешь булки. Ты не ешь и все приходится бросать, это ужасно.

Целую. Твоя Аня"[154].

Все это, конечно, действительно странно.

Но только на первый взгляд.

Нужно понимать: Агранов так же недооценивал Гумилева, как ранее недооценивал его Ю. П. Герман!

Агранов был циником и прагматиком до мозга костей, уж никак не хуже покойного Голубя. Окажись он на его месте осенью 1920 года, он так же не доверил бы "романтику" даже "сбор мнений". В том, что дальше "болтовни" какой-нибудь "гнилой интеллигент" в конспиративной работе не пойдет, Агранов был убежден изначально, еще до того, как дал отмашку на аресты "профессорской группы". **Эту "болтовню" он хотел "материализовать" во что-то более весомое, в этом и**

заключалась поставленная им перед его сотрудниками задача.

Если бы он хоть на долю секунды заподозрил кого-нибудь из своих "подопечных" в способности перейти от слов к серьезному делу, то, зная Агранова, можно не сомневаться — питерские чекисты рыли бы землю носом, пролистали бы в поисках "прокламации" полистно и последовательно не только книги библиотеки Гумилева, но и всего хранилища петербургской Публичной библиотеки, а все цитируемые нами мемуаристы диктовали бы свои воспоминания не "на берегах Сены", а гораздо раньше — "на берегах Невы", в аскетическом кабинете на Гороховой, 2, под строгим и внимательным взглядом лично Якова Сауловича.

Но Агранов в "конспиративную дееспособность" Гумилева не верил и поэтому дал своим людям указание не связываться с обеспечением доказательной базы для выявления подробностей этой стороны деятельности поэта. Необходимо было обеспечить **другую доказательную базу — для подтверждения активного сочувствия Гумилева целям заговорщиков**, и эта цель была чекистами достигнута (иронизирование некоторых исследователей над безграмотностью отчетов аграновских агентов считаю неуместной: да, они допускали орфографические ошибки, но у них был шеф, который прекрасно знал не только правила грамматики, но и еще многие другие правила).

Материалы, собранные в "шагреневых переплетах" гумилевского "Дела", — если отнестись к ним серьезно (а они действительно того заслуживают), — помимо обязательных формальных бумаг — ордеров, анкет, собственно протоколов допросов, — четко делятся на две категории.

Первая категория связана **с отработкой круга общения поэта** в последние месяцы перед арестом. Здесь мы находим многочисленные листы с адресами и номерами телефонов, записки Гумилеву, списки фамилий литераторов, сделанные его рукой (это — документы, связанные с работой во "Всемирной литературе"). Смысл присутствия в деле такой документации понятен, особенно если учесть принципиальную "забывчивость" подследственного на конкретные имена. Впрочем, у Агранова, несомненно, была и другая, "дальняя" цель. В случае удачи и признания Гумилева соучастником в деле ПБО все упомянутые в его деле люди могли стать новыми "фигурантами" Агранова или его преемников. При помощи той же самой игры с диалектикой прикосновенности/соучастия "профессорская группа" ПБО могла, теоретически, распространяться до бесконечности по методу "карточного домика" (что, в общем, потом и случилось).

Предусмотрительный Агранов загодя готовил новое поле деятельности.

Вторая категория гораздо интереснее: по ней мы можем судить, какую **решающую улику** выделил Агранов, анализируя показания Таганцева, для обеспечения неотразимой доказательности того, что прикосновенность Гумилева к заговору является по **мотивам** не "прикосновенностью", а "соучастием".

Эта улика — упомянутые Таганцевым 200 000 рублей, переданные Шведовым Гумилеву.

Заметим: денег при обыске у Гумилева не нашли. Согласно отдельно приложенной на л. 13 "Дела" "Талона квитанции" за № 6413 "денег советских" в комнате поэта было обнаружено 16 000 р., а также "старинных монет" — 1 зол. 48 у.<нций>[155]. Но Таганцев показал, что "на расходы Гумилеву было выделено 200 000 советских рублей", и **Гумилев это подтвердил**, очевидно, считая *факт получения и хранения денег* (ведь он же взял их "на всякий случай и держал их в столе, ожидая или событий, то есть восстания в городе, или прихода Вячеславского, чтобы вернуть их…"[156]) достаточно "безобидным" (ведь мы помним, что за хранение денег Национального центра Таганцев получил все ту же фатальную "двушку").

Но подтверждать факт передачи денег Гумилеву было ни в коем случае нельзя!

Это был "прокол", за который и ухватился Агранов.

И вот почему.

В способность интеллигенции к активной подпольной борьбе Агранов не верил. Но взятие "подпольных" денег на хранение или, наоборот, денежное вспомоществование подпольщикам активными формами борьбы не являлось. Подобные услуги были еще с дореволюционных времен традиционной для либеральной интеллигенции формой участия в деле "освобождения России" (тогда, правда, "от проклятого царизма"). Что-то подобное Агранов вполне мог ожидать и от членов "профессорской группы" и, вероятно, особо ориентировал оперативников и следователей на "финансовые проблемы" их будущих "подопечных". В отличие от времен царской сатрапии, когда денежные дела с революционерами (вспомним Савву Морозова!) практически ничем не грозили, в правовой ситуации, сложившейся в РСФСР к лету 1921 года, такое "пассивное содействие" было смертельно опасным, в какой-то мере — гораздо даже более опасным, чем содействие активное. В том самом постановлении ВЦИК и Совнаркома от 17 января 1920 года, которое положило конец "красному террору", специально оговаривалось, что оставляется **возможность "возвращения к методам террора"** в случае

"возобновления Антантой попыток путем вооруженного вмешательства или **материальной поддержкой** мятежных царских генералов вновь нарушить устойчивое положение Советской власти"[157].

Но ведь Шведов — эмиссар Парижа. Он едет в РСФСР по поручению врангелевского "Союза освобождения России" и везет деньги Торгово-промышленного комитета! Поэтому любые его финансовые контакты — это именно та ситуация, при которой ВЦИК и Совнарком оставляют органам безопасности (и вообще — всем силовым структурам РСФСР) право не считаться с нынешними гуманными постановлениями и продолжать следовать методам "красного террора" (т. е. — расстреливать и за "прикосновенность").

Признавая, что он *взял* деньги от Шведова, Гумилев, во-первых, тем самым признал, что он участвовал в распределении "материальной помощи Антанты", нарушающей "устойчивое положение Советской власти", и, признав это, он поставил себя "вне закона". При этом дальнейшая судьба самих денег (т. е. хранились ли они в гумилевском столе или не хранились) никак на подобное "убойное" заключение не влияла.

Собственно, после *такого* "во-первых", "во-вторых" не очень-то нужно. Тем не менее Агранов работает тщательно. Он получил в руки неотразимое оружие против Гумилева и не может допустить, чтобы оно дало хоть малейший сбой.

Во-вторых, Гумилев признал, что он получил от Шведова не просто деньги, но "*деньги на расходы, связанные с выступлением*".

Взять деньги можно по-разному. Можно, например, взять деньги на хранение у доброго знакомого, не зная, *кто* он такой в "конспиративном" плане и *откуда* у него эти деньги (а может быть, только смутно подозревая "нечто"). И так и заявить на следствии (что, по всей вероятности, сделал Таганцев, обвиненный в хранении денег "Национального центра"), В этом случае, даже если передавший деньги был самим воплощением зверской души мирового капитала и исчадием империалистического ада, не что иное, как "прикосновенность" обвиняемому не инкриминировать — за утрату бдительности.

Гумилев сам признал, что деньги передавали ему *не на хранение, а в личное распоряжение и на конкретные "контрреволюционные" цели.* Это — конец. Это последний, недостающий Агранову штрих, завершающий созданное им художественное полотно "гумилевского дела", последняя, удушающая жертву нить сотканной чудовищной паутины. И именно поэтому необходимо, чтобы "ключевое" гумилевское признание было **документально подтверждено**. Желательно

также подтвердить, что это признание не было самооговором (а показания Таганцева — клеветой), чтобы осознавший, в какую ловушку он сам себя загнал, подследственный не взял свои показания назад. *Ведь сами-то деньги не обнаружены*!

XIX

На наш взгляд, два весьма колоритных документа из тех, которые опубликованы В.К. и С. П. Лукницкими, *несомненно* попали в дело именно как улики, доказывающие наличие у Гумилева "контрреволюционных денег". Это — уже приведенная записка А. Н. Гумилевой-Энгельгардт "котику" и расписка писательницы М. С. Шагинян (в будущем — классика советской литературы, автора жизнеописаний В. И. Ленина) в получении 27 июля 1921 года от Гумилева ссуды в 50 000 рублей[158].

Что касается записки, то смысл приобщения этого трогательного послания к "делу" (что всегда вызывало особое недоумение исследователей) лежит на поверхности. В любой момент следователь мог предъявить неопровержимое документальное доказательство, что "котик" не бедствовал. Живущий в крайности человек не будет "бросать" продукты питания, как бы дурно они ни были приготовлены. Значит, деньги *были*. Расписка же свидетельствует о том, что Гумилев не только имел деньги, но и *мог ими распоряжаться* по своему усмотрению (деньги, отданные на хранение, — чужие деньги, порядочные люди в долг их, как правило, не дают).

"Получение денег от организации на технические надобности" станет финальным аккордом и расстрельного заключения по "Делу Гумилева" и послерасстрельного перечня его преступлений в списке казненных "таганцевцев". **Доказательство этого факта давало Агранову возможность сделать из Гумилева "соучастника" заговора, даже если бы больше ни о каких его "проступках" (пассивных или активных) известно не было.**

Какую бы сумму он ни получил.

Кстати, о сумме.

Во многих гумилевоведческих работах о "Таганцевском заговоре" было принято особо обращать внимание читателей, что Гумилев получил от В. Г. Шведова какой-то мизер. Это, как правило, использовалось потом в качества аргумента, подтверждающего вывод исследователя о "несерьезности" ПБО. Подобное же утверждение содержится и в книге В. К. Лукницкой, где комментируется имеющаяся в "Деле" расписка М. С. Шагинян: "Для каких нужд М. Шагинян взяла у Гумилева "заговорщицкие" деньги? Может быть, на картошку, а может быть на 10 почтовых марок (почтовая марка стоила в то время 5000 рублей, по теперешним меркам 200 000 — это 2 рубля)"[159]

В. К. Лукницкая и ее сын С. П. Лукницкий совершили подвиг, исполнив завещание мужа и отца и предав гласности "Дело

Гумилева". Без их отважной, подвижнической деятельности не было бы ни этой, ни многих других книг о Гумилеве. Менее всего мне хотелось бы спорить с ними, но именно этот, процитированный выше пассаж всегда ставил меня в тупик, ибо я решительно *не мог представить себе Гумилева, ссужающего Мариэтте Шагинян сумму на покупку десяти почтовых марок, а затем требующего… расписку в получении денег.*

И какими бы глазами смотрел он при этом на Шагинян?

Николай Степанович действительно был бережлив, иногда даже — прижимист, но в маниакальной скупости он никогда замечен не был (равно как и Мариэтта Сергеевна, насколько можно судить по воспоминаниям современников, не была в 1921 году настолько продувной девицей, что вести с ней даже копеечные (буквально) расчеты можно было, только прибегая к посредству расписок). Очевидно, здесь какая-то путаница, ведь курс советских денег (и, соответственно, цена почтовых знаков) менялись в годы Гражданской войны многократно и стремительно.

В книге В. К. Лукницкой, среди материалов "Дела Гумилева", приводится список продуктов, закупленных им для обитателей Дома Искусств летом 1921 года во время поездки на юг и в Москву (в поезде Немитца). Тут же приводятся потраченные суммы. Согласно этому списку 20 фунтов сахара (8 кг 190 г) стоили тогда 210 рублей, 4 фунта риса (1 кг 630 г) — 20 рублей, 6 фунтов гречневой крупы (2 кг 450 г) — 30 рублей (см.: Указ. соч. С. 286). Сообразуясь с нынешними ценами на те же продукты и, разумеется, сделав большие допуски на иную ценовую ситуацию в целом в стране и разницу цен в Петрограде, Москве и на юге, каждый может сам произвести подсчеты и найти современный эквивалент. По моим расчетам (на которых я, впрочем, не настаиваю), Гумилев получил от Шведова сумму, колеблющуюся (если считать в твердой валюте) **от тысячи до двух тысяч долларов**, — вполне достаточную, чтобы оплатить с надбавкой за риск услуги гектографиста (как планировалось вначале), закупить "агитационную водку" и оставить себе на расходы и "материальное поощрение" членов "пятерки". Тогда, заметим, и Мариэтта Шагинян просит в долг у Гумилева *под расписку* не горемычные пятьдесят копеек, а около $ 200–400 — сумму для долга вполне "благородную" и именно такую, при передаче которой можно уже требовать расписку, не боясь затем прослыть в кругах Дома Искусств жмотом (а то и — психом). Гумилев понимал: деньги, ссуженные им, хотя и принадлежат ему лично, но… как бы "не совсем".

Но, подчеркнем еще раз, собственно сумма

"контрреволюционных денег" для исхода дела значения не имела. Даже если бы Гумилев действительно получил из рук Шведова два рубля и отдал бы затем Шагинян под расписку пятьдесят копеек, а на следствии признался только лишь в том, что знал о членстве Шведова в подпольной организации (а расписка оказалась бы изъята чекистами и была бы единственной уликой, приобщенной к делу), — и это уже значило бы для поэта гибель. Основываясь только на перечисленных фактах и доказательствах, Агранов мог сделать следующие заключения:

— Гумилев общался со Шведовым и, зная, кто такой Вячеславцев, не донес на него в органы госбезопасности: налицо факт *прикосновенности* Гумилева к преступлению Шведова (организация заговора против советской власти).

— Недонесение Гумилева мотивировано не только субъективно-нравственными причинами, ведь контакт поэта с заговорщиком не ограничился только общением, но имел последствия: Гумилев вступил с заговорщиком в финансовые отношения, получил от него свободные средства для использования по усмотрению. Документ, подтверждающий это, имеется. Следовательно, преступное деяние Гумилева (сокрытие от властей контакта с заведомым преступником) мотивировано личным интересом поэта в преступной деятельности Шведова, т. е. *может быть интерпретировано как соучастие.*

И… все.

Характерно, что, "отработав" сам факт получения Гумилевым "денег от организации на технические надобности", Агранов даже не пытается выяснить, куда, собственно, эти деньги делись, хотя этот вопрос, кажется, лежит на поверхности. Гумилев показал, что он положил 200 000 рублей в стол и стал ждать либо восстания, либо нового визита Шведова. Ни того, ни другого не последовало, и Гумилев "предал дело забвенью". "Заговорщицкие деньги" тогда должны, вроде бы, были мирно покоиться в столе поэта, но при обыске там было найдено всего 16 000 рублей. В "Деле Гумилева" никаких объяснений этой очевидной "странности" нет. Почему не вдавался в подробности сам Гумилев — понятно: И. В. Одоевцева, случайно увидевшая в ящике стола эти пачки рублей и рассказавшая об этом эпизоде в своих воспоминаниях, добавляет, что деньги Гумилев раздавал потом членам своей "пятерки"[160]. Но почему Агранов *даже не спросил*?

XX

А его это уже не интересовало. Его вообще уже ничего не интересовало в этом расследовании: ведь **все другие "преступные деяния" Гумилева никак следствием не отрабатывались**. В следственном заключении просто переписаны соответствующие места из показаний Таганцева и Гумилева. Между тем, как мы видели, даже простое сопоставление этих показаний могло существенно уяснить степень истинного участия поэта в деятельности ПБО — чего стоил хотя бы "сюжет" с "лентой для гектографа" вместо "ленты для пишущей машинки". Неужели чекисты не понимали разницы между пишущей машинкой и гектографом — коль скоро речь идет (и Гумилев это не скрывает) о листовках?!

Конечно, понимали. Но все равно переписывали со слов Таганцева: "На расходы Гумилеву было выдано 200 000 рублей советскими деньгами и *лента для пишущей машинки*" (эта дурацкая "лента для пишущей машинки", перекочевавшая затем и в "список расстрелянных", стала поводом для недоуменных размышлений многих историков-гумилевоведов).

После подтверждения факта передачи денег все другие обвинения против поэта не играли никакой качественной роли. Подтвердятся ли потом эти обвинения или не подтвердятся, — никакого значения не имело, поскольку **один доказанный факт получения денег на технические надобности в сочетании с признанием Гумилева в контактах с "контрреволюцией" давал право следователю ВЧК требовать для подследственного смертного приговора "за соучастие"**. Именно — **следователю, а не прокурору** — ведь, как мы помним, в Петрограде действует военное и осадное положение и суда не будет. Зачем же доказывать еще и еще раз самому себе то, в чем ты и без того уже уверен? А любая последующая проверка была теперь чекистам не страшна — у них было что сказать (и показать)…

Впрочем, если бы обещанный Таганцеву "открытый процесс" и состоялся, — *результат был бы тот же самый*, только оперативники, наверное, подсуетились бы еще в сборе доказательств (это было, как мы видели, нетрудно). "Московские процессы", например, на которых, точно по апробированной в 1921 году в Петрограде схеме, "**прикосновенили в соучастие**" всех сталинских политических противников, превращая их в одночасье из членов ЦК во вредительско-террористическую "помесь лисицы и свиньи", были вполне открытыми. Ну и что?

Аграновский Молох был сработан на совесть, он переварил всех, все покаялись (чистосердечно) и были расстреляны как соучастники всевозможных террористических групп (а не как партийные оппозиционеры!).

А Запад и не пикнул!

Еще и еще раз повторим: *Агранов меньше всего стремился установить истину в отношении подлинного облика "контрреволюционера Гумилева"* (как, впрочем, и в отношении всех его "подельников" по "профессорской группе"). Допытываться, чье пальто использовал Николай Степанович, маскируясь под рабочего на Трубочном заводе, и какого цвета были чернила, которыми был написан "черновик кронштадтской прокламации", было Якову Сауловичу скучно и… некогда.

В том, что опасность для советской власти, исходящая от Гумилева-заговорщика (и от всей группы арестованных им интеллигентов), *в любом случае*, мягко говоря, невелика, Агранов был совершенно уверен еще до приезда в Петроград, а подробности (говорил ли речи Гумилев работницам Трубочного завода или не говорил?) работнику аграновского масштаба неинтересны. Более того: именно в данном деле заботиться о безопасности РСФСР и ее властей Агранов вообще целиком предоставил семеновским головорезам, гонявшимся за головорезами из боевой группы ПБО и, кстати, к моменту активного аграновского старта уже почти всех посадившим (или — перестрелявшим).

У Агранова — совершенно иная, особая миссия.

Летом 1921 года Агранов "обкатывал" созданный им по заданию партии механизм величайшей в истории машины правового и нравственного подавления личности. Масштаб был, как и полагается для обкатки, скромным, можно сказать, крошечным — всего чуть более восьмисот человек (именно столько людей так или иначе проходили по "делу ПБО"), — но сам-то механизм мыслился для подавления целых народов, а в ближайшем историческом будущем — всего человечества. Преувеличения здесь никакого нет: **после "Таганцевского дела" именно Агранов по поручению Кремля будет главным планировщиком "дела ЦК партии эсеров" (1922), "троцкистского заговора" (1929), "дела Ленинградского террористического центра" (т. н. "убийство Кирова", декабрь 1934), а в 1936 году, уже в качестве комиссара государственной безопасности СССР и работника личного секретариата Сталина, — одним из руководителей "Московских процессов"**[161], а там, как известно, жертвы исчислялись уже десятками (если не сотнями!) тысяч и

последствия — политические и социальные — имели планетарный масштаб. Поэтому с высоты поставленных перед ним задач *конкретные* судьбы всех фигурантов "Таганцевского дела" были для взгляда Агранова столь же трудноразличимы, как трудноразличимы эволюции каждого отдельного муравья для взгляда наблюдающего за муравьиной кучей биолога. Разглядеть "стилистику" индивидуального поведения каждой "муравьиной персоны" — тот хромает, к тому вон хвойка прилипла, — можно, конечно, но… глаза очень устают, а, главное, для задачи исследования вовсе и не нужно. Интересен общий алгоритм поведения — в какую сторону побежали?..

Каких результатов добивался (и добился) московский куратор "дела ПБО"?

Упоминавшийся однажды в нашем повествовании Л. В. Берман встречался с Аграновым "в служебной обстановке" спустя два года после "таганцевской эпопеи", когда процесс, запущенный в 1921 году, уже вовсю "пошел" и Яков Саулович готовил очередную "матрицу" "дела ПБО" — "дело эсеров". Берману повезло: после встречи с Аграновым он остался жив и даже — спустя полвека, в 1974 году, — нашел в себе мужество по секрету кое-что из этой беседы рассказать. В частности, на случайно вырвавшийся у собеседника вопрос: "Почему так жестоко покарали участников "Дела Таганцева"?" — Яков Саулович спокойно ответил: **"В 1921 году 70 процентов петроградской интеллигенции были одной ногой в стане врага. Мы должны были эту ногу ожечь!"**[162] Вот это и есть аграновские масштабы, это и есть его уровень: не отдельные люди, а минимум социальные группы. *Агранов мыслил категориями стратегического социального моделирования*.

Петроградская интеллигенция — активная социальная группа. Именно ее состояние определяло тогда общее состояние гораздо большей структурной единицы российского социума — всего населения Петрограда. Это состояние было неудовлетворительным, ибо в 1921 году контроль советских властных структур над фрондирующим Петроградом был ослаблен. "Таганцевское дело" должно было стать инструментом воздействия на петроградскую интеллигенцию. С помощью этого инструмента следовало преобразовать ее в такое состояние, которое бы создавало оптимальные условия для возобновления жесткого управления и контроля. **Для этого Агранов и ехал в Петроград в мае 1921 года, а вовсе не для "шефской помощи" ПетрогубЧК в расследовании какого-то очередного заговора.**

Добиться метаморфозы петроградской интеллигенции с помощью "Таганцевского дела" Агранову удалось.

"Это был процесс, в свое время ошеломивший нас всех, — писала одна из современниц "таганцевцев". — Скольких жертв знали мы с мужем близко и сами были чудом спасены… <…> Аресты подготовлялись с изысканной ложью и особым зверством. За много месяцев росло чувство надвигающейся трагедии…".[163] Описания **жуткого, безумного страха**, охватившего всех и вся после того, как "расстрельные списки" были утром 1 сентября 1921 года расклеены на городских перекрестках, мы находим во всех без исключения мемуарах современников "Таганцевского заговора". Этот страх был *качественно новым* по отношению даже к кошмарам минувшей эпохи "военного коммунизма".

Ведь практически вся питерская интеллигенция тех лет была в той или иной степени недовольна коммунистическим режимом, была "повязана" фрондой 1921 года.

И практически все знали новоявленных декабристов — Таганцева и его "профессоров" — и им сочувствовали. **А они вдруг были "преобразованы" Аграновым, увы, не в "декабристов", а в террористов.**

И были "показательно расстреляны" вместе с боевиками ПБО.

И — **следователям ЧК теперь решать, кто "сообщник" терроризма, а кто лишь "прикосновенен"** к нему, решать, так сказать, кто следующий в "профессорскую группу".

Страх разлагает и деморализует. Особенно разрушителен внутренний, перманентный страх, который англичане метко называют "скелетом в шкафу". Создав "на базе" ПБО "профессорскую группу", Агранов сумел подложить такой "скелет" в "шкаф" каждой петербургской интеллигентной квартиры, обитатели которой так или иначе были связаны в начале 1920-х годов с жизнью Дома литераторов и Дома Искусств, вращались в университетских и академических кругах.

Таковыми были почти все заметные питерские интеллигенты.

"Мерзко смотреть на болезнь, которой охвачены огромные толпы, — вспоминает свое ощущение от первого визита в Петроград в 1922 году Н. Я. Мандельштам. — <…> В Петербурге эта болезнь — мания видеть во всех стукачей — достигла самого высокого уровня"[164]. Агранов выполнил поставленную перед ним задачу. С 1921 года и до того момента, пока в ней доминировали представители "поколения таганцевцев", петроградская интеллигенция была вполне управляемой.

Но "петроградская интеллигенция" была в начале двадцатых годов лишь *одной из многих* активных социальных групп в сложной структуре советского общества. Эффективность воздействия на нее "таганцевской методики" Агранова убедительно доказывала возможность решения куда

более глобальной задачи — сделать жестко управляемым все общество. Просто у каждой из этих социальных групп — партийных, хозяйственных, аграрных, военных и т. д. — должна была быть своя ПБО с соответствующей "профессорской" ("партийной", "директорской", "крестьянской", "военной") группой"…

Вот о чем шла речь в августе 1921 года! И можно ли упрекать Агранова в том, что он еще и не уточнил: что же все-таки получил от Шведова Гумилев — ленту для пишущей машинки или для гектографа, и получил ли вообще? Более того — **излишние доказательства "конспиративной активности" Гумилева были бы даже и вредными для решения аграновской "сверхзадачи"**. Ведь, по его замыслу, Гумилев должен был быть расстрелянным в одном строю с боевиками ПБО не как собственно "*Гумилев*". Он должен был стать для петроградской интеллигенции одним из самых ярких и убедительных *примеров* того, что, "невзирая на чины и лица", любая, даже самая незначительная (и даже — *чем незначительнее, тем лучше!*) прикосновенность кого бы то ни было к любому сомнительному с точки зрения советской власти сообществу *может* быть *юридически* истолкована правоохранительными органами этой власти как соучастие в терроризме и наказана самым страшным *(чем "страшнее", тем лучше — контраст впечатляет!)* образом.

Вот как "*пример*" Гумилев Агранова и интересовал. Вот в этой "функции" он и был ему интересен.

Впрочем, нет! Конечно, не только в этой…

XXI

"Дело "профессорской группы" ПБО развивалось стремительно — с момента первых арестов (первые числа августа) до расстрела прошло меньше месяца. В этом спринтерском темпе — свой аграновский расчет: внезапность ошеломляла, деморализуя не только подследственных, но и (что было еще важнее) их высоких покровителей. Ведь помимо Гумилева речь шла, повторим еще раз, о *самых видных* представителях научных и общественных кругов Северной столицы: Лазаревский — ректор Петербургского университета, Ухтомский — ведущий научный сотрудник Русского музея, Тихвинский — управляющий лабораториями Главного нефтяного комитета ВСНХ. Сенатор Н. С. Таганцев, отец Владимира Николаевича, вообще знал семью Ленина и лично помогал Марии Александровне Ульяновой в 1887 году добиться свидания с сыном Александром, арестованным по делу подготовки покушения на императора Александра III… Естественно, что в отличие от несчастных рядовых германовских и шведовских агентов (и "агентш"), с которыми чекисты-"семеновцы" могли вытворять (и, кажется, вытворяли) буквально все, что взбредет им в голову, Агранов и его ассистенты должны были продумывать буквально каждый свой шаг, каждый ход следствия, постоянно учитывая возможность мгновенной негативной реакции "на самом верху".

Что же касается Гумилева, то в числе его "высоких заступников" постоянно называют Максима Горького и И. П. Бакаева. Участие первого в судьбе поэта документально подтверждено. Об участии второго мы можем судить на уровне "чекистских легенд", но таких, объективная близость которых к достоверно известному историческому контексту настолько высока, что просто проигнорировать их невозможно. Судя по всему, и тот, и другой все-таки успели даже и в такой короткий срок, который понадобился Агранову, чтобы "раскрутить" "Дело "профессорской группы", дойти до верховных советских инстанций, ходатайствуя о смягчении наказания великому поэту, о недопущении смертной казни.

Горький, как, впрочем, и все окружение Гумилева по издательству "Всемирная литература", поначалу степени опасности происходящего не оценил, и привычным уже манером (задержания и аресты в этой среде стали к лету 1921 года делом настолько частым, что и горьковская реакция на них превратилась в бюрократическую рутину) надиктовал "всемирной" машинистке: "Августа 5-го дня 1921. В Чрезвычайную

комиссию по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией (Гороховая, 2). По дошедшим до издательства "Всемирная литература" сведениям, сотрудник его, Николай Степанович Гумилев, в ночь на 4 августа 1921 года был арестован. Принимая во внимание, что означенный Гумилев является ответственным работником в издательстве "Всемирная литература" и имеет на руках неоконченные заказы, редакционная коллегия просит о скорейшем расследовании дела и при отсутствии инкриминируемых данных освобождения Н. С. Гумилева от ареста. Председатель редакционной коллегии…"[165].

Через некоторое время Горький и "всемирники", осознав, что дело начинает принимать дурной оборот, отправляют уже в Президиум Петроградской губернской чрезвычайной комиссии бумагу-поручительство за подписями как самого председателя "Всемирной литературы" (Горького), и "председателя Петроградского отдела Всероссийского Союза писателей" (А. Л. Волынского), "товарища председателя Петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов" (М. Л. Лозинского), "председателя коллегии по управлению Домом литераторов" (Б. И. Харитона), "председателя пролеткульта" (А. И. Маширова (Самобытника)): "Ввиду деятельного участия Н. С. Гумилева во всех указанных учреждениях и высокого его значения для русской литературы нижепоименованные учреждения ходатайствуют об освобождении Н. С. Гумилева под их поручительство"[166].

Затем Горький переполошился и, уже не прибегая к посредничеству официальной переписки, лично связался с Ф. Э. Дзержинским. Шеф ВЧК охотно ознакомил великого пролетарского писателя с обстоятельствами дела (соучастие в терроризме, вредительстве, поджогах, покушениях на убийство, взрывах памятников и т. д.) и заметил, что в каждом деле "сообщников террористов" так или иначе, упоминается имя самого Горького[167]. Это был, что называется "тонкий намек на толстые обстоятельства": ведь Горький, по существу, стал первым из планируемых Аграновым "*последующих фигурантов*", первым, кого должен был задеть "правовой резонанс" "дела ПБО", кого должно было "ожечь". Очень похоже, что Агранов ехал в Петроград, снабженный, среди прочего, и *особым* пожеланием руководства ВЧК в ходе дела по возможности "оздоровить атмосферу" вокруг Горького, который окончательно надоел и Дзержинскому, и самому Ленину своими бесконечными ходатайствами в пользу притесняемой интеллигенции. "Маг и чародей" Агранов выполнил и это личное пожелание руководства, одним мановением руки превратив окружающих Горького "притесняемых интеллигентов" в сомнительных уголовников,

заступаться за которых теперь стало прямо опасно и закадычному другу Ильича. Кстати, переваривая задушевную беседу с Дзержинским, Горький мог вспомнить ленинское послание от 9 августа 1921 года — и оценить своеобразный юмор вождя: "А у Вас кровохарканье, и Вы не едете (за границу. — Ю.З.)!!! Это, ей-же-ей, и бессовестно, и нерационально. В Европе, в хорошем санатории будете и лечиться, и втрое больше дела делать. Ей-ей. А у нас ни лечения, ни дела, — одна суетня. **Зряшняя суетня**. Уезжайте, вылечитесь. Не упрямьтесь, прошу Вас. Ваш Ленин"[168].

Но Горький упорно не хотел лечиться и продолжал упорствовать в "зряшней суетне". Надо отдать должное Максимычу: за Гумилева он дрался буквально до самого конца. В самый последний момент, 23-го или даже 24 августа 1921 года, он связывается с М. Ф. Андреевой. Счет идет на часы. По воспоминаниям секретаря наркома просвещения А. В. Луначарского Арнольда Эммануиловича Колбановского, "однажды, в конце августа 1921 года около четырех часов ночи раздался звонок. Я пошел открывать дверь и услышал женский голос, просивший срочно впустить к Луначарскому. Это оказалась известная всем член партии большевиков, бывшая до революции женой Горького бывшая актриса МХАТа Мария Федоровна Андреева. Она просила срочно разбудить Анатолия Васильевича. Я попытался возражать, т. к. была глубокая ночь, и Луначарский спал. Но она настояла на своем. Когда Луначарский проснулся и, конечно, ее узнал, она попросила немедленно позвонить Ленину. "Медлить нельзя. Надо спасать Гумилева. Это большой и талантливый поэт. Дзержинский подписал приказ о расстреле целой группы, в которую входит и Гумилев. Только Ленин может отменить его расстрел".

Андреева была так взволнована и так настаивала, что Луначарский наконец согласился позвонить Ленину даже и в такой час.

Когда Ленин взял трубку, Луначарский рассказал ему все, что только что услышал от Андреевой. Ленин некоторое время молчал, потом произнес: "Мы не можем целовать руку, поднятую против нас", — и положил трубку.

Луначарский передал ответ Ленина Андреевой в моем присутствии"[169].

После расстрела "таганцевцев" Горький внял наконец советам Ильича и уехал за границу на лечение.

В отличие от Горького Иван Петрович Бакаев накоротке к Ленину вхож не был. Зато он был достаточно близок к Дзержинскому. Бакаев был третьим, после Урицкого и

В. Н. Яковлевой, председателем ПетрогубЧК (1919–1920). Именно он руководил "красным террором" в Петрограде и получил за это звание "Почетный чекист". В жизни он был вполне узнаваемым и достаточно редким типом революционера, берущего свое начало от Максимилиана Робеспьера и Сен-Жюста. Убежденный в своей правоте и правоте революции, фанатик-идеалист, гуманист и бессребреник Бакаев во имя блага человечества в целом готов был в любую минуту пролить кровь каждого из "человеков" в отдельности. Таковым слыл и Железный Феликс.

Бакаев захаживал к Горькому, был знаком (вне круга служебной деятельности, разумеется) со многими петроградскими литераторами. Он был самоучкой, но знал и любил литературу и искусство, был очень интересным собеседником, способным очаровать, даже такого требовательного интеллектуала, как В. Ф. Ходасевич: "В конце ужина, с другого конца стола пересел ко мне довольно высокий, стройный, голубоглазый молодой человек в ловко сидевшей на нем гимнастерке. Он наговорил мне кучу лестных вещей и цитировал наизусть мои стихи. Мы расстались друзьями. На другой день я узнал, что это Бакаев"[170]. Сближению Бакаева с Горьким в конце 1920–1921 годов немало способствовало то, что, как и Горький, Бакаев был врагом Зиновьева, который целенаправленно оттеснял его с руководящих постов. После Кронштадта давление Зиновьева стало открыто оскорбительным, и Бакаев перешел к настоящей конфронтации с председателем Северной коммуны. Эта вражда, несомненно, подогревалась весной — летом 1921 года созерцанием идиота Семенова, пребывающего, по воле Зиновьева, в его, бакаевском, председательском кресле ПетрогубЧК.

Факт "оппозиционности" Бакаева руководству ПетрогубЧК во время следствия над "таганцевцами" является существенным обстоятельством, которое заставляет со вниманием относиться к рассказам о его заступничестве за Гумилева. Стихи Гумилева Бакаев знал и любил, но тут вполне могло иметь место еще и оскорбленное самолюбие профессионала, который не смог стерпеть, видя, как какой-то мальчишка-москвич (Агранов был моложе Бакаева на шесть лет) под носом у безгласного Семенова творит черт-те что. Бакаев вмешивался в ход следствия над Гумилевым, "почетный чекист" был единственным в ПетрогубЧК, кто мог себе это позволить[171]. Затем, по воспоминаниям В. Сержа (который по имени, правда, Бакаева не упоминает, но иных имен в связи с этим легендарным эпизодом в мемуаристике просто нет; с другой стороны, кроме бывшего председателя ПетрогубЧК и героя "красного террора", на такой шаг в тех кругах

никто бы тогда не решился), он "поехал в Москву, чтобы задать Дзержинскому вопрос: "Можно ли расстреливать одного из двух или трех величайших поэтов России?" Дзержинский ответил: "Можем ли мы, расстреливая других, сделать исключение для поэта?"[172]

Итак, обе "высшие инстанции" в "деле Гумилева" оказались *непосредственно* проинформированы авторитетными в глазах Ленина и Дзержинского людьми в том, что в Петрограде готовится расстрел "одного из двух или трех величайших поэтов России". И Горький, и Бакаев готовы были поручиться за Гумилева. Ходатайство от "Всемирной литературы" уже лежало в папке ВЧК.

Но ведь это та же самая ситуация, что и с Названовым!

Здесь даже проще: Названов (за которого просили, напомним, в то же самое время Кржижановский и Красин, а на поруки, как "незаменимого спеца", брал Госплан) все-таки реально "наследил" в деле, а Гумилев, как мы знаем, смог вывернуться и оставить за его рамками все уличающие его *факты*. Обвинения против Гумилева так, как они сформулированы в деле, целиком зависят от субъективной трактовки мотивов, побудивших к совершению преступных действий. Вынести их "за скобки", даже не вдаваясь в подробности (как это все-таки необходимо было сделать с названовскими обвинениями), Ленину вообще ничего не стоит. Надо лишь признать, что Гумилев совершал проступки не потому, что он был внутренне "явным врагом народа и рабоче-крестьянской революции", а просто потому, что "предрассудки дворянской офицерской чести не позволили ему пойти "с доносом" (вспомним Г. А. Терехова).

Но и Ленин, и Дзержинский отвечают Горькому и Бакаеву чеканными афоризмами. Значит ли это, что они и являются главными убийцами поэта?

Нет!

Вспомним подробности все того же "дела Названова".

Перед тем как дать добро в ответ на просьбы Кржижановского и Красина, Ленин советуется с Аграновым! И в этот раз он почти наверняка с Аграновым связался.

Ведь Ленин не испытывал никакой личной вражды к Гумилеву, больше того — он его стихотворений, если судить по ленинской библиотеке, почти и не знал. Ленин вообще не любил современной ему литературы "за декаданс" и знал ее, в отличие от русской классики XIX века, очень плохо. В сугубо технические подробности "Таганцевского дела" Ленин, естественно, не вдавался. Горький дает Гумилеву отличную рекомендацию "как спецу", — значит, надо справиться у того, кто за это дело

отвечает… Но даже если Ленин (и Дзержинский) и составили загодя, еще до обращений Горького и Бакаева, стойкое убеждение в том, что Гумилева надо непременно расстрелять, то ведь **информацию, на основании которой они могли это заключение сделать, поставлял им опять-таки Агранов!** Он и только он был личным представителем Ленина и Дзержинского в июле — августе 1921 года в ПетрогубЧК, их "глазами и ушами".

А Агранов — насколько можно понять этого человека — **никогда бы не "упустил" Гумилева**, даже если бы ему, Агранову, пришлось бы буквально костьми лечь, опровергая перед своим грозным начальством и Горького, и Бакаева, и Луначарского, и Андрееву, и… кого угодно.

Ленину стоило только намекнуть о Названове, и Агранов — тут как тут! — выдает, без всяких проблем, "двухлетнюю альтернативу" расстрелу. Но ведь Названов — и есть Названов.

Расстрелять или отпустить (благо других найти несложно) дюжину-другую названовых Агранов мог в любой момент и не стал бы из-за этого спорить не только с Кржижановским и Красиным, но даже, пожалуй, и… с Семеновым.

Совсем другое дело — Гумилев.

ЧТО ТАКОЕ Гумилев для России и мира, Агранов понимал не хуже Горького. И даже гораздо лучше Горького. И лучше всех эстетов Дома литераторов и Дома Искусств.

Я даже думаю, что Агранов понимал это лучше всех вообще.

И ныне, и присно, и во веки веков.

И вот тут стоит вспомнить, что все мемуаристы упоминают слухи, упорно ходившие тогда по городу, что допросы Гумилева вел какой-то необыкновенный, гениальный следователь.

В. И. Немирович-Данченко называет его "правоведом" и замечает, что он выгодно отличался от обычных чекистских "эскимосов" (ярким примером последних у него выступает Семенов)[173].

Г. В. Иванов рассказывает о чудо-следователе куда более подробно, ибо ему посчастливилось получить информацию от "чекиста Дзержибашева", которого Иванов называет "следователем чека по отделу спекуляции". По всей вероятности, Иванов имеет в виду Терентия Дмитриевича Дерибаса, фамилия которого в сознании Иванова со временем, по вполне понятным причинам, получила соответствующие фонетические дополнения. Т. Д. Дерибас в 1921 году действительно часто бывал в Петрограде, ибо курировал "кронштадтские дела"; в чекистских кругах он был весьма влиятелен и вскоре стал работником Секретного отдела ВЧК. Вот что рассказывает Иванов: "Допросы Гумилева более походили на диспуты, где обсуждались самые

разнообразные вопросы — от "Принца" Макиавелли до "красоты православия". Следователь Якобсон, ведший "Таганцевское дело", был, по словам Дзержибашева, настоящим инквизитором, соединявшим ум и блестящее образование с убежденностью маньяка. Более опасного следователя нельзя было выбрать, чтобы подвести под расстрел Гумилева. Если бы следователь испытывал его мужество или честь, он бы, конечно, ничего от Гумилева не добился. Но Якобсон Гумилева чаровал и льстил ему Называл его лучшим русским поэтом, читал наизусть гумилевские стихи, изощренно спорил с Гумилевым и потом уступал в споре, сдаваясь или притворяясь, что сдался перед умственным превосходством противника…

Я уже говорил о большой доверчивости Гумилева. Если прибавить к этому его пристрастие ко всякому проявлению ума, эрудиции, умственной изобретательности, наконец не чуждую Гумилеву слабость к лести, — легко себе представить, как, незаметно для себя, Гумилев попал в расставленную ему Якобсоном ловушку. Как незаметно в отвлеченном споре о принципах монархии он признал себя убежденным монархистом. Как просто было Якобсону после диспута о революции "вообще" установить и запротоколировать признание Гумилева, что он непримиримый враг Октябрьской революции"[174].

После публикации "дела Гумилева" сведения, сообщенные Ивановым со слов Дзержибашева-Дерибаса, получили точное подтверждение: все гумилевские протоколы фиксируют: "Допрошенный следователем Якобсоном…". И расстрельное заключение подписано только одной фамилией — Якобсон[175].

И все. Даже инициалов "гения" до сих пор в распоряжении гумилевоведов нет.

Впечатление такое, что, сверкнув вдруг ослепительно яркой звездой на небосклоне Петрочека в августе 1921 года, следователь Якобсон сразу после расстрела "таганцевцев" в мгновение ока канул в небытие.

В.К. и С. П. Лукницкие отмечают бросающиеся в глаза странности оформления протоколов и заключения: с одной стороны, в деле не содержится ни одного вопроса следователя к Гумилеву, с другой — обвинительное заключение подписано синим карандашом, а подпись оперуполномоченного ВЧК предусмотренная машинисткой, вообще отсутствует[176].

В. Радзишевский пишет: "Следователь Якобсон — по-видимому, кличка Якова Агранова…"[177]

Это действительно могло быть: "особоуполномоченный особого отдела ВЧК" вполне мог приехать в Петроград под конспиративным псевдонимом. Но могло быть и несколько иначе.

Он вполне мог найти себе, в качестве "ширмы", какого-то реального "чекиста Якобсона", который сидел вместе с ним на допросах Гумилева и помалкивал, а затем под диктовку Агранова составлял краткий "протокол".

А говорил только Агранов. И о Макиавелли, и о "красоте православия"… И еще о многом-многом, не имеющем никакого отношения ни к следствию, ни к чекистской будничной рутине…

И я верю, что он был неотразим даже для Гумилева в проявлении ума, эрудиции, умственной изобретательности…

Потому что он знал, что он убьет Гумилева.

Он знал об этом с самого начала, с того самого момента, когда имя Гумилева мелькнуло в потоке бумаг, ежедневно затапливающем его стол. С этого момента Гумилев был обречен, вообще независимо от того, совершал ли он что-нибудь "контрреволюционное" или не совершал.

И не только потому, что для задуманного Аграновым адского эксперимента над петроградской интеллигенцией такой "устрашающий пример", как казнь великого поэта, был действительно гениальным завершающим штрихом.

А потому, что этот человек, Яков Саулович Агранов, был щедро одарен судьбой. Он был красив и молод. Интеллект его граничил с гениальностью, его обаяние было неотразимо. Он мог и умел наслаждаться великой поэзией, живописью и музыкой. Его любили красивейшие женщины эпохи. Сильные мира прислушивались к его словам.

Но он захотел большего.

Он захотел — бессмертия.

Настоящего бессмертия, бессмертия "без срока давности", бессмертия безусловного.

Тварь ли я дрожащая или право имею?!

В тот миг, когда он увидел имя Гумилева на подлой бумаге жалкого сексота, Агранов понял, что он может сделать то, что никто никогда не делал и никогда не сделает, кроме него.

Во всей тысячелетней русской истории это право имели до Агранова только два человека.

Но они не понимали своего избранничества, они не были готовы к бессмертию.

"…Не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал…"

Агранов понимал.

И я уверен, что подпись под расстрельным заключением Гумилева он поставил собственноручно.

И не дал больше подписаться под таким заключением никому.

Потому что это была его заявка на бессмертие.

И мы должны наконец признать за ним право на это мрачное бессмертие и дать ему, Якову Сауловичу Агранову, место впереди и Дантеса, и Мартынова, ибо в уме и дерзновении своем он далеко превзошел тех, двоих, вместе взятых…

* * *

В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Проплывает Петроград…

Еще в студенческие годы, едва прикоснувшись к разрозненным материалам, хранившим тайну великой трагедии августа 1921-го, я любил бродить по тем улицам города, камни которых помнили облик ее главных участников.

Я шел по последнему пути Гумилева — от здания Дома Искусств на перекрестке Невского и Мойки к зданию ПетроЧК на Гороховой, затем — через пустынную Дворцовую ("И горит над обелиском / Ангел твой на рдяном диске, / Словно солнца младший брат…"), по набережной Невы, мимо Летнего сада ("Краше горнего Иерусалима / Летний сад и зелень сонных вод…") — на Шпалерную, к Большому Дому и зданию Дома предварительного заключения. Я садился на Финляндском вокзале на электричку до Бернгардовки и от перрона на голой вокзальной площади, еще не застроенной нынешними торговыми рядами, шел вниз, к мрачной низине, по которой извивалась Лубья, а вдали — чернел "расстрельный" лес Ржевского полигона…

И чем больше я узнавал о подробностях гибели Гумилева, тем больше все происшедшее тогда, приобретало для меня черты классической, античной трагедийности. Ибо во всей "Таганцевской эпопее" почти все ее участники — и разочарованный, ищущий смерти Герман, и циничный, хихикающий Менжинский, и обманутый прекраснодушный Таганцев, и обиженный Бакаев, и затравленный Горький, и даже "кремлевский мечтатель" Ленин, — все ее политические "тексты и подтексты", все детективные коллизии обладают неким эстетическим ущербом, отступая в тень перед мощным и абсолютно простым столкновением Добра и Зла, персонифицированных в двух главных героях-антиподах — Гумилеве и Агранове.

И думалось: а ведь приговор поэту Агранов все-таки подписал *не своим, а чужим именем* (или псевдонимом, что в данном случае роли не играет). Потому в этой схватке, он, в конечном счете, и проиграл. Иначе и быть не могло: природа Зла вторична, оно может заявить о себе только при наличии Добра.

Гумилев ведь прекрасно мог бы обойтись в своем бессмертии и без Агранова. Но мог ли Агранов обойтись без Гумилева в бессмертии *своем*?..

И потому, когда я смотрел на темнеющие вдали, за Лубьей, вершины "расстрельного леса", среди всех прочих видений и призраков августа 1921 года, окружавших меня, был и один, самый страшный, который я гнал, как мог, и не мог отогнать никак.

…И чавкала под шинами чекистского лимузина грязь на сырой лесной "грунтовке", и Агранов, выскочив еще на ходу, бежал, бежал изо всех сил сквозь утренний, гудящий стонами и проклятьями туман, висящий над Ржевским полигоном…

Бристоль — Санкт-Петербург 28 сентября 2004 г. — 2 января 2010 г.

notes

Примечания

1

См.: Чуковская Лидия. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. Т.2. 1952–1962. М., 2007. С. 540–541.

2

См:.Лукницкая В.К. Николай Гумилев: жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л., 1990. Вкладка между с. 256–257.

3

Иоффе В. Первая кровь: Петроград, 1918–1921 // Иоффе В. Границы смысла: Статьи. Выступления. Эссе. СПб., 2002. С. 135.

4

30 августа 1918 г. в Москве Ф. Е. Каплан ранила выстрелом из пистолета выступавшего на митинге В. И. Ленина. В тот же день в Петрограде поэт Л. А. Каннегисер застрелил председателя ПетроЧК М. С. Урицкого. 2 сентября Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) принял резолюцию по поводу этих покушений, в которой говорилось о необходимости "массового красного террора против буржуазии и ее агентов". 5 сентября Совет народных комиссаров РСФСР принял официальное постановление "О красном терроре", в котором, в частности, указывалось на необходимость "обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; что необходимо опубликовывать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры" (см.: Декреты Советской власти. Т.3. М., 1964. С. 267, 291–292). На самом деле массовые казни потенциальных "врагов народа" в Петрограде начались еще раньше: 3–4 августа 1918 г. в городе было арестовано, по разным данным, от 1000 до 6000 офицеров, рассредоточенных по тюрьмам, загородным концентрационным лагерям и этапированных в Кронштадт. Большинство из них было затем убито, причем расстрелы начались тогда же, в августе (см.: Мелъгунов С. П. Красный террор в России: 1918–1923. Нью-Йорк, 1979. С. 21).

5

"За Урицкого и Ленина действительно погибли тысячи невинных по отношению к этому делу людей. Тысячи по всей России были взяты заложниками" (Мельгунов С. П. Указ. соч. С. 25).

См.: Иоффе В. Указ. соч. С. 128.

7

В дневниках З. Н. Гиппиус 1919 г. фиксируется, в частности, что горожане, живущие вблизи Петропавловской крепости, слышат по ночам "бесконечные расстрелы". "Расстреливают офицеров, сидящих с женами вместе, человек 10–11 в день, — записывала в августе 1919 г. в дневнике З. Н. Гиппиус. — Выводят во двор, комендант с папироской в зубах, считает, — уводят. Недавно расстреляли профессора Б. Никольского. <…> На днях сына потребовали во "Всеобуч" (всеобщее военное обучение). Он явился. Там ему сразу комиссар с хохотком объявил (шутники эти комиссары!): "А вы знаете, где тело вашего папашки? Мы его зверькам скормили!" Зверей Зоологического сада, еще не подохших, кормят свежими трупами расстрелянных, благо Петропавловская крепость близко, — это всем известно. Но родственникам, кажется, не объявляли раньше" (см.: Гиппиус З. Н. Живые лица. Стихи. Дневники. В 2 кн. Кн. 1. Тбилиси, 1991. С. 196, 187–188).

Иоффе В. Указ. соч. С. 132.

9

См.:Наумов В. П., Коссаковский А. А. Кронштадтская трагедия 1921 года // Вопросы истории. 1994. № 4. С. 10.

10

Мельгунов С. П. Указ. соч. С. 141. В. Иоффе среди свидетельств о расстрелах на Ржевском полигоне упоминает рассказ фельдшера И. Н. Роптина (в изложении Т. С. Варшера), возможно, также относящийся к казни участников ПБО: "Ночью разбудили его, посадили в автомобиль и повезли на полигон по Ириновской железной дороге и заставили его, в качестве "медицинского персонала", присутствовать при расстрелах. "Понимаете ли, одних расстреливают, а другие уже голые у костра жмутся… женщины, мужчины, все вместе. Женщины еще мужчин "утешают" (Варшер Т. С. Виденное и пережитое (В советской России). Берлин, 1923. С. 31–32; цит. по: Иоффе В. Указ. соч. С. 129). К этому можно прибавить устное сообщение И. А. Флиге, сделанное автору этих строк, равно как и другим участникам поездки на Ржевский полигон, организованной Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном Доме 25 августа 2006 года: во время раскопок, произведенных участниками "Мемориала" в окрестностях порохового склада, было найдено большое количество гильз патронов от "Кольта М1911". Большая партия этих патронов была заказана в Англии правительством России еще до Первой мировой войны, однако из-за плохих условий хранения в петроградском арсенале частично пришла в негодность. Большевики, которым военные запасы царского правительства достались "по наследству", из-за высокой опасности осечки запретили использование "английского заказа" в боевых частях Красной Армии, но снабжали этими патронами расстрельные команды чекистов. Расстрел поэтому превращался еще и в психологическую пытку, поскольку выстрелы перемежались постоянными осечками. Нужно отметить также, что августовский расстрел 1921 г. был, по-видимому, одной из последних (или даже последней) экзекуцией на Ржевском полигоне: на этой акции возможности данного "спецучастка" были сочтены в ВЧК исчерпанными, и он был полностью заброшен, пребывая в зловещем забвении до конца 1980-х гг.

11

Иванов Г. В. Собрание сочинений. В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 169.

12

Слепян Д. Ф. Что я вспомнила о Николае Степановиче Гумилеве // Жизнь Николая Гумилева (Воспоминания современников) / Сост. Ю. В. Зобнин, В. П. Петрановский, А. К. Станюкович. Л., 1991. С. 198.

13

Павлов В. А. Воспоминания о Н. С. Гумилеве // Жизнь Николая Гумилева. С. 206.

14

Струве П. Б. Блок — Гумилев // Жизнь Николая Гумилева. С. 215 (курсив П.С. — Ю.З.)

15

Сибирские огни. 1922. № 4; цит. по: Николай Гумилев: Pro et contra. СПб., 1995- С. 485.

16

См. ответы официальных инстанций на запросы группы "Мемориал", приведенные в статье В. Иоффе: "Из письма УФСК по СПб. и обл. (№ 10/16— 15944 от 19.12.1994): "Сведениями о местах расстрелов и захоронений граждан, осужденных к ВМН в период с 1917 по 1937 год, Управление не располагает. Зам. нач. Управления В. Л. Шульц". Из письма УФСБ по СПб. и обл. (б/н от 17.08.1995): "На ваш запрос сообщаем, что в архиве Управления ФСБ РФ по СПб. и области документов переписки органов ЧК — ГПУ с особым отделом и командованием Ржевского артиллерийского полигона не имеется. Зам. нач. Управления А. А. Григорьев". Из письма РГВА (№ 45 5/и от 28.09. 1995): "Сообщаем, что документами Ржевского артполигона Петроградского ВО РГВА не располагает. В просмотренных документах штаба Петроградского ВО за 1918–1922 годы переписки с Петроградской губернской и городской ЧК об использовании территории полигона не выявлено. Зам. директора Л. В. Двойных" (Иоффе В. Указ. соч. С. 136–137).

Впрочем, и такой подход еще не гарантировал безопасности, так что само определение круга общения гумилевоведа требовало конспиративных предосторожностей. Так, Л. В. Горнунг, начиная переписку с Лукницким и упомянув при этом, что о его "отношениях к Гумилеву знают очень немногие", счел необходимым четко оговорить "правила игры": "…Я бы хотел условиться с Вами относительно полной откровенности <…>, а за несомненную порядочность обеих сторон, я думаю, ручается имя самого Гумилева, ради которого я готов на все. Очень прошу поставить меня в курс относительно Вашей работы и обещаю полное молчание в отношении всего или хотя бы неизданного материала, если Вы найдете это необходимым, т. е. показывание до поры до времени. Да, я думаю, и нет надобности ставить кого-либо в известность относительно нашей работы, кроме того, самое имя Гумилева не везде произносимо даже сейчас" (Н. С. Гумилев в переписке П. Н. Лукницкого и Л. В. Горнунга // Николай Гумилев. Исследования и материалы. С. 497–498).

18

См.: Чернов А. Звездный круг Гумилева // Лит. газета. 1996.4 сентября (№ 36 (5618)). С. 6.

Фельдман Д. Дело Гумилева /. Новый мир.1989. № 4. С. 265.

20

Сажин В. Предыстория гибели Гумилева // Даугава. 1990. № 11. С. 92.

21

Там же. С. 93.

22

См. об этом: Борис Савинков на Лубянке: Документы. М., 2001, Долгополов Н. М. Гении внешней разведки. М., 2004; Амфитеатров и Савинков: переписка 1923–1924 / Публ. Э. Гарэтто, А. И. Добкина, Д. И. Зубарева // Минувшее. Исторический альманах. 13. М.: СПб., 1993. С. 73—158; "Три недели беспросветного кошмара…" Письма С. Рейли / Публ. Д. И. Зубарева // Минувшее. Исторический альманах. 14. М.: СПб., 1993. С. 275-3.Ю.

23

Петров М. В дополнение к "Делу Н. С. Гумилева" // Новый мир. 1990. № 5. С. 265.

Голинков Д. Н. Крушение антисоветского подполья в СССР. М., 1978. Кн.2. С. 109–115.

25

Из доклада ВЧК о раскрытых и ликвидированных на территории РСФСР заговорах против советской власти в период мая — июня 1921 г. // Из истории Всероссийской Чрезвычайной Комиссии. 1917–1921 гг. Сборник документов. М., 1958. С. 446.

Голинков Д. Л. Указ. соч. С. 113.

27

См.: Немирович-Данченко В. И. Рыцарь на час (Из воспоминаний о Н. С. Гумилеве) // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С. 235

Голинков Д. Л. Указ. соч. С. 110.

29

Перченок Ф. Ф. Список расстрелянных // Новый мир. 1989. № 4. С. 265.

30

См.: Иванов Г. В. Мертвая голова // Собрание сочинений. В 3 т. М., 1993. Т.3. С. 363–373.

31

См.: Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 297; Голинков Д. Л. Указ. соч. С. 113; Крейд В. Загадка смерти Гумилева // Стрелец. 1989. № 3- С. 288.

32

Крейд В. Загадка смерти Гумилева. С. 285.

33

Там же. С. 291.

34

Там же.

Русская мысль. 3 марта 1983 г. (№ 3454). С. 8.

См.: Крейд В. Указ. соч. С. 291.

Там же. С. 286.

38

Из истории Всероссийской Чрезвычайной Комиссии. С. 445–446.

39

На важное значение этого обстоятельства указывал уже в 1922 году хорошо информированный Ф. И. Дан, один из руководителей меньшевиков (см.: Дан Ф. И. Два года скитаний (1919–1921). Берлин, 1922. С. 186–188).

См.: Даугава. 1990. № 8. С. 166.

41

Об Я. С. Агранове см.: Справочник учреждений РСФСР. 22 января 1920. С. 9, 217; яркие характеристики его — в книгах Александра Орлова ("Тайная история сталинских преступлений"), Сергея Мельгунова ("Суд истории над интеллигенцией"), Георгия Атабекова ("ГПУ: записки чекиста").

42

С 13 по 16 июня 1921 г. в Варшаве под председательством Б. В. Савинкова и С. Рейли проходил Конгресс антибольшевистских сил, в котором принимали участие представители "зеленых" (крестьянские партизанские соединения в России), иностранных военных представителей из Франции, Бельгии, Англии, Италии и Америки, а также — официального представителя президента Польши Пилсудского полковника Б. Веньявы-Длугошовского. Конгресс одобрил разработанный Русским эвакуационным комитетом Савинкова план альтернативного устройства управления Российским государством как федерацией республик и областей и призвал все подпольные группировки в России к радикальному террору, безжалостному истреблению комиссаров и чекистов. Решения Конгресса имели большой резонанс и в эмигрантских кругах, и в РСФСР. Советское правительство 4 июля 1921 г. направило польскому правительству ноту, в которой, ссылаясь на Рижский мирный договор, потребовало от Пилсудского немедленного изгнания руководителей Эвакуационного комитета из Польши и роспуск его структур.

43

См.: Новый мир. 1989. № 4. С. 264.

Гуль Р. Б. Я унес Россию. Апология эмиграции. Том первый. Россия в Германии. М., 2001. С. 211.

45

Русский Берлин. 1921–1923. По материалам Б. И. Николаевского в Гуверовском институте / Изд. подготовлено Л. Флейшманом, Р. Хьюзом, О. Раевской-Хьюз. Paris, 1983. С. 16.

Цит. по: Русский Берлин. С. 16–17.

См.: Русская мысль. 3 марта 1983 (№ 3454). С. 8.

48

См. о литературной деятельности В. Р. Менжинского: Дворникова Л. Я. Автор одного романа: Письма В. Р. Менжинского к В. Н. Верховскому // Встречи с прошлым. М., 1987. Вып. 4. С. 103—107

49

"В эмигрантской газете "Дни", № 1070, 1926, — пишет В. Крейд, — была опубликована заметка, в которой разъясняется, что же именно произошло с Таганцевым за закрытыми дверями Шпалерной и Гороховой тюрем. "Это именно Менжинский, — говорится в заметке, — дал слово Таганцеву пощадить всех участников дела, если он назовет без утайки…". Менжинский был едва ли не самым образованным человеком в Чека… Он происходил из католической семьи, его отец занимал видную должность в Пажеском корпусе. В молодости Менжинский вел жизнь, достойную представителя золотой молодежи. Вместе с тем писал стихи, мечтал о славе писателя. <…> Одновременно он заканчивает Петербургский университет… а чувство коллегиальности у обычных петербургских студентов было развито чрезвычайно. Таганцев поверил честному слову "коллеги" и назвал имена тех, с кем когда-либо разговаривал на политические темы. Таким способом и был составлен список заговорщиков и состряпан сам заговор" (Крейд В. Указ. соч. С. 294; см. также об этом: Грязневич В., Орлова Н. Запланированный заговор // Смена (Л). 1991, 24 августа (№ 196 (19946)); Грязневич В. Профессор Таганцев и другие: пренебрежение банальными истинами // Час Пик. 1991. 23 декабря (№ 51 (96)).

Доливо-Добровольский АВ. Семья Гумилевых. Кн.1. Николай Гумилев: поэт и воин. СПб., 2005.С. 566.

51

1 марта 1917 г., в разгар революционных волнений в Петрограде, приведших к падению монархии, петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов издал Приказ № 1 по Петроградскому гарнизону, отменявший прежнее титулование и систему командования, вместо которой создавались выборные солдатские комитет. Хотя Приказ № 1 относился только к войскам Петроградского гарнизона, он мгновенно разнесся по всем войсковым частям России и стал, по словам генерала А. И. Деникина, "первым и главным толчком к развалу' армии". См. об этом: Лехович Д. Деникин: жизнь русского офицера. М., 2004. С. 111.

52

См.: Степанов Е. Е. Хроника // Гумилев Н. С. Сочинения. В 3 т. М., 1991. Т.3. С. 402.

53

См: Курляндский И. А. Адъютант комиссара Временного правительства. // Н. Гумилев и Русский Парнас. Спб., 1992. С. 123–128; Поэт и воин. Публикация И. А. Курляндского // Николай Гумилев. Исследования и материалы. С. 278–285.

54

См.: Николай Гумилев. Исследования и материалы. С. 280–284. Любопытно, что идеологию большевиков поэт отождествляет с идеями анархиста А. К. Махайского, который прямо говорил об интеллигенции как о враждебном пролетариату паразитическом классе, а подлинной революционной базой полагал "криминальную массу".

В. Ф. Ходасевич-. "Он был удивительно молод душой, а может быть, и умом. Он всегда мне казался ребенком. Было что-то ребяческое в его под машинку стриженной голове, в его выправке, скорее гимназической, чем военной. То же ребячество прорывалось в его увлечении Африкой, войной, наконец — в напускной важности, которая так меня удивила при первой встрече и которая вдруг сползала, куда-то улетучивалась, пока он не спохватывался и не надевал ее на себя сызнова. Изображать взрослого ему нравилось, как всем детям" (Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С. 205). Э. Ф. Голлер-бах: "Упрекали его в позерстве, в чудачестве. А ему просто всю жизнь было шестнадцать лет. Любовь, смерть и стихи. В шестнадцать лет мы знаем, что это прекраснее всего на свете. Потом — забываем: дела, делишки, мелочи повседневной жизни убивают романтические "фантазии". Забываем. Но он не забыл, не забывал всю жизнь" (Там же. С. 15). Никогда не воевавший Ходасевич купно с никогда не воевавшим Голлербахом утверждают, что в оценке войны и революции Гумилев, около трех лет просидевший в окопах на передовой, а 1917 год проработавший в структурах российского Генерального штаба, был наивен как дитя!.. Кстати, ничего конкретного об этих "наивных суждениях" никто не сообщает. Нимало не пытаясь обидеть Ходасевича и Голлербаха и вполне признавая их право строить свою "политику", опираясь на свой исторический опыт, заподозрим все же, что Гумилев, у которого этот опыт был иной, мог бы, в свою очередь, отметить "детскую наивность" в суждениях собеседников.

56

О работе Гумилева в лондонском Русском правительственном комитете упоминается и в "Автобиографии" другого его сотрудника, Н. Губского, изданной в Лондоне в 1937 г. Описывая последние дни существования Комитета весной 1918 г., Губский упоминает "русского эмигранта — поэта со странным лошадиным лицом, принадлежавшего к агиотистской (имеется в виду — акмеистской. — Ю.З.) школе", который горячо убеждал растерянных сотрудников, не желавших возвращаться в Россию, ехать после ликвидации учреждения в Абиссинию ("Прекрасное место для русских: теплый климат, полно солнца, прекрасная охота. И, главное, та же религия: греческая православная церковь"), "По вечерам, — пишет Н. Губский, — бывшие сотрудники бывшего комитета собирались у Курчениновых, и поэт, высокомерно глядя поверх голов, декламировал неестественным голосом свои баллады о Неуязвимых носорогах и стройных Красавицах-эфиопках, о свисте охотничьих Ассегаев и Голубых Очах Джунглей (наверно, он подразумевал горные озера). Остальные восторженно слушали, и начиналась оргия воображаемых приключений. <…>…За два фунта соли, говорил поэт, вы получите слоновый бивень; за два коробка спичек — шкуру леопарда; так что стоило лишь взять с собой центнер соли и побольше спичек.." (цит. по: Давидсон А. Николай Гумилев. Поэт, путешественник, воин. Смоленск, 2001. С. 293–294).

Цит. по: Струве Г. П. Анна Ахматова и Борис Анреп // Анна Ахматова: pro et contra. Кн.2. СПб., 2005. С. 605.

58

Поэт и воин. С. 257.

59

Цит. по: Струве Г. П. Анна Ахматова и Борис Анреп. С. 605–606. Можно добавить, что "роман" Ахматовой и Анрепа был не только в полном смысле слова идеальным, но и "односторонним". Борис Васильевич, высоко ценивший поэтическое дарование Ахматовой и питавший к ней самые дружеские чувства, в период их редких встреч в Царском Селе и Петрограде 1916–1917 гг. был целиком увлечен сложными эротическими перипетиями, связывавшими его с американкой Э. Мейтленд, и абсолютно равнодушен к ахматовским женским чарам. Более того, Анреп, при всем его богемном беспутстве, был все-таки человеком глубоко порядочным и никогда бы не позволил себе оскорбить подобной интрижкой Гумилева, которого он хорошо знал, любил и как человека, и как поэта и который в 1916–1917 гг. был, как и Анреп, офицером-фронтовиком. Впрочем, легче от всего этого Николаю Степановичу, конечно, не было…

60

Одоевцева И. В. На берегах Невы. С. 149–150. Мечтам поэта сбыться было не суждено: "В 1918 году Николай Степанович вернулся и остановился в меблиров<анных> комнатах "Ира". <Ахматова> была там до утра. Ушла к Срезневским. Потом, когда Николай Степанович пришел к Срезневским, АА провела его в отдельную комнату и сказала: "Дай мне развод…". Он страшно побледнел и сказал: "Пожалуйста…". Не просил ни остаться, не расспрашивал даже. Спросил только: "Ты выйдешь замуж? Ты любишь?" АА ответила: "Да". — "Кто же он?" — "Шилейко". Николай Степанович не поверил: "Не может быть. Ты скрываешь, я не верю, что это Шилейко" (Лукницкий П. Н. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1. 1924–1925 гг. Paris, 1991.С. 144): 5 августа 1918 г. состоялся официальный развод Гумилева с А. А. Ахматовой, а уже 8 августа он женился на Анне Николаевне Энгельгардт (1895–1942). 14 апреля 1919 г. у них родилась дочь Елена.

61

См. об этом: Давидсон А. Муза странствий Николая Гумилева. М., 1992. С. 211–221.

Тименчик Р. Д. По делу № 214224 // Даугава.1990. № 8. С. 118.

63

Имеется в виду Институт живого слова — общедоступное учебное заведение, открывшееся в Петрограде осенью 1918 г. в Тенишевском училище (Моховая ул., 33–35). В институте имелось несколько отделений: публичной речи, декламационное, литературно-творческое; читались курсы гуманитарных дисциплин и велись "прикладные" курсы (домоводство, переплетное дело и т. д.).

Одоевцева И. В. На берегах Невы. С. 16.

65

Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С. 213. Ср. свидетельство С. Познера: "В жестокой, звериной обстановке советского быта это был светлый оазис, где молодежь, не погрязшая еще в безделье и спекуляции, находила отклики на эстетические запросы" (Там же. С. 238).

Кунина И. Е. Моя гумилевская весна // Литературное обозрение. 1991. № 9. С. 101.

См.: Гильдебрандт-Арбенина О. Н. Саперный, 10 // Гильдебрандт-Арбенина О. Н. Девочка, катящая серсо… Мемуарные записи. Дневники. М., 2007. С. 90–99.

68

См.: Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С. 177.

69

Вернувшись в Петроград, Гумилев с марта до мая жил сначала в меблированных комнатах "Ира" на Николаевской улице (ныне — улица Марата, 2), затем — у МЛ. Лозинского (Каменноостровский проспект, 73, кв. 26).

С 3 мая 1918 года поэт поселился на Ивановской улице, дом 20/65, кв. 15 — в квартире редактора журнала "Аполлон" С. К. Маковского, который в это время жил в Крыму (современный адрес: Социалистическая улица, 20/65, угол улицы Марата). "Тотчас после "Февральской <революции>", — вспоминал С.К Маковский, — в апреле 1917 года, я уехал из Петербурга в Крым, будучи уверен, что никогда не вернусь, и предоставил журнальное помещение "Аполлона" на Разъезжей улице и мою личную квартиру на Ивановской — со всем, что в них осталось, в полное распоряжение (через секретаря редакции <М.Л.> Лозинского) аполлоновцам. Насколько мне известно, чуть ли ни первыми переехали в мою квартиру Ахматова со своим другом — Шилейко, ученым ассириологом, сотрудником "Аполлона", давно и безнадежно, как мне казалось, ее любившим. Они въехали, а затем в той же квартире, по возвращении из Лондона <...>, поселился будто бы Гумилев, женившийся перед тем на Энгельгардт. Но молодая чета не прожила в моих комнатах до трагической смерти Николая Степановича. В наступившие голодные и холодные года большевики вселили в бывшую мою квартиру каких-то прачек, которые постепенно сожгли, чтобы не замерзнуть, всю мебель и заодно, на растопку, библиотеку и личный архив (так дымом и ушла моя прошлая жизнь)" (Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С. 71).

4 апреля 1919 г. Гумилев переехал вместе с семьей в новую квартиру (№ 2) в доме 5/12 по Преображенской улице (современный адрес: улица Радищева, 5). Эта квартира была взята им во временное пользование со всей обстановкой и инвентарем у С. В. Штюрмера. Гумилеву тут принадлежали только 1303 экземпляра книг, перевезенных им летом 1919 г. из реквизированного царскосельского особняка Гумилевых на Малой улице, 62 с помощью И. В. Одоевцевой, Н. А. Оцупа и пролетарского поэта Н. Рыбацкого.

С 19 ноября 1919 г. у Гумилева была также комната в общежитии открывшегося Дома Искусств (набережная Мойки, 59). "Населявшие его люди, — писал о Доме Искусств поэт Н. С. Тихонов, — были невероятно несхожи друг с другом. Тут жили и старые и молодые, люди разных поколений и жанров.

Рядом с сестрой художника Врубеля — молодые писатели вроде Лунца и Слонимского, рядом со скульптором Ухтомским — Аким Волынский, автор сочинения о Леонардо да Винчи и Достоевском. Жили писатели Ольга Дмитриевна Форш и Леткова-Султанова, помнящая Тургенева. Жила баронесса Икскуль, которую написал еще Репин. Жила Мариэтта Шагинян, которая поселилась в помещении бывшей ванны <купцов> Елисеевых. Жил и полубезумный поэт Пяст, переводчик, и мрачный Грин, молчаливый и необщительный. Был еще Чудовский, бывший критик эстетского журнала "Аполлон", написавший статью в защиту буквы "Ять" (Тихонов Н. С. Из "Устной книги" // Жизнь Николая Гумилева. С. 169). Гумилев получил комнату в Доме Искусств с момента его открытия, однако вплоть до своей гибели продолжал жить "на два дома", сохраняя за собой квартиру на Преображенской, 5. "Коммунальными услугами" он пользовался только в том случае, если отапливать "частное жилье" становилось невозможным, или ночевал здесь, чтобы сэкономить время.

См.: Чуковский К. И. Дневник 1901–1929. М., 1991. С. 122.

Левинсон А. Я. Блаженны мертвые // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С. 219-

72

См.: Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С. 228, 237.

73

Немирович-Данченко В. И. Рыцарь на час (из воспоминаний о Н. С. Гумилеве) // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С. 229.

Иванов Г. В. Мертвая голова // Собрание сочинений. В 3 т. М, 1994. Т.3. С. 367–368.

Там же. С. 368.

Цит. по: Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 289.

77

Цит. по: Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 284.

78

Цит. по: Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 291. Выделенная фраза подчеркнута красным карандашом.

79

Иванов Г. В. Мертвая голова. С. 370. Там же Иванов передает слова Германа о том, что они с Гумилевым "часто встречались — так, по делу одному — и много говорили".

Цит. по: Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 284.

81

См.: Степанов Е. Е. Хроника. С. 420–422.

Цит. по: Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 289–290.

83

См. об этом: Тименчик Р. Д. По делу № 214224. С. 118–120.

Познер С. Памяти Гумилева // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С. 237.

85

Крейд В. Загадка смерти Гумилева. С. 289.

"Он не прочь был использовать лозунги мелкобуржуазной контрреволюции — "Свободные перевыборы в Советы", "Советы без большевиков", полагая, что они могут послужить и кадетам", — писал о Таганцеве Д. Л. Голинков (Голинков Д. Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. С. 111). Именно эти лозунги и были взяты на вооружение восставшими кронштадтцами.

Цит. по: Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 284–285.

Цит. по: Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 290.

Цит. по: Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 293.

Крейд В. Указ. соч. С. 295.

91

Одоевцева И. В. На берегах Невы. С. 302; ср.: Арбенина-Гильдебрандт О. Н. Девочка, катящая серсо. С. 144–145. Это происходило 24 февраля 1921 г. Осторожный М. А. Кузмин, не фиксируя в дневнике встречу с Гумилевым, пометил все же: "На Васильевском Острове беспорядки и серьезные" (Кузмин М. А. Дневник 1921 года // Минувшее. Исторический альманах. 12. М.: СПб., 1993, С. 447).

Голинков Д. Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. С. 111. Курсив мой. — Ю.З.

93

В. К. Лукницкая датирует данный текст 12 февраля 1921 г. (Указ. соч. С. 260).

См.: Степанов Е. Хроника. С. 421–422.

См.: Крейд В. Указ. соч. С. 269.

Иванов Г. В. О свитском поезде Троцкого, расстреле Гумилева и корзинке с прокламациями // Иванов Г. В. Сочинения. В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 389.

Крейд В. Указ. соч. С. 297–298.

Сажин В. Предыстория гибели Гумилева // Даугава. 1990. № 11. С. 92. На склоне дней Л. В. Берман рассказывал В. Сажину о том, что (по всей вероятности, летом или осенью 1920 г.) Гумилев обратился к нему с просьбой устроить конспиративную встречу с эсерами, "объясняя это желанием послужить России". "После неудачных попыток отговорить Гумилева от опасного шага Берман согласился выполнить его просьбу. <…> Берман предупредил заговорщиков, что с ними желает познакомиться один из лучших поэтов России (фамилия не называлась) и просил использовать его лишь в случае крайней необходимости" (Там же). О том, достоялась ли эта встреча, Л. В. Берман умолчал. Возможно, попыткой такого контакта и был рождественский "визит старой дамы" на Преображенскую, 5 (если это не вымысел Гумилева). По крайней мере, Б. Н. Башкиров-Верин, на которого "дама" ссылалась, входит в партию эсеров. Тогда понятно, кстати, почему Гумилев отказался иметь со "старой дамой" дело: ведь к этому времени он уже был "завербован" В. Н. Таганцевым в ПБО, которая была "кадетской". Возможно, кстати, что Берман несколько исказил и эпизод с листовками. По крайней мере, И. В. Одоевцева вспоминала, что после ареста Гумилева Берман (не называемый мемуаристкой по имени) был панически настроен и прибегал к ней советоваться, скрываться ли ему теперь или "сдаваться" (см.: Вопросы литературы. 1988. № 12). Такая реакция вряд ли была возможна, в случае, если бы Берман никаких "конспиративных дел" с Гумилевым не имел. Впрочем, к свидетельству Л. В. Бермана стоит относиться с большой осторожностью, поскольку с конца 1910-х и в 1920-е гг. он постоянно оказывался связан с разными "чекистскими инцидентами", начиная с дела "левых эсеров", когда он, задержанный, был освобожден из-под стражи 29 ноября 1918 г. по личному распоряжению…Ф. Э. Дзержинского, и кончая мрачной историей с "заметанием следов" непредумышленного убийства в "Англетере" С. А. Есенина Я. Г. Блюмкиным и Н. Л. Леонтьевым 27 декабря 1925 г. (см. Кузнецов В. Сергей Есенин. Казнь после убийства. М.: СПб., 2006. С. 108–115).

99

Руководители восставших кронштадтских матросов пытались использовать погромные настроения, распространившиеся в конце февраля — начале марта 1921 г. среди рабочих на охваченных "волынками" заводах Петрограда. См. в дневнике М. А. Кузмина запись от 17 марта 1921 г. (день подавления восстания): "Жиды цветут: Сторицын, Саня — отошел призрак погрома. Какие дети! или это легкомыслие отчаяния?" (Кузмин М. А. Дневник 1921 года // Минувшее. Исторический альманах. 12. С. 453).

цит. по: Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 285.

101

Немирович-Данченко В. И. Рыцарь на час. С. 232.

102

За этим занятием в первых числах мая 1921 г. его застала И. В. Одоевцева: "Я застаю Гумилева за странным занятием. Он стоит перед высокой книжной полкой, берет книгу за книгой и, перелистав ее, кладет на стул, на стол, или просто на пол. <…> Он трясет головой:

— Я ищу документ. Очень важный документ. Я заложил его в одну из книг и забыл в какую. Вот я и ищу. Помогите мне.

Я тоже начинаю перелистывать и вытряхивать книги. Мы добросовестно и безрезультатно опустошаем полку. <…> Мне надоело искать, и я спрашиваю:

— А это важный документ?

Он кивает.

— И даже очень. Черновик кронштадтской прокламации. Оставлять его в пустой квартире никак не годится" (Одоевцева И. В. На берегах Невы. С. 358).

103

К этому периоду относятся воспоминания М. Л. Слонимского: "Гумилев бывал в Доме Искусств часто, но нерегулярно, у него была там комната, но складывалось впечатление, что у него есть квартира где-то в Петрограде" (Слонимский М. Л. Из воспоминаний о Н. С. Гумилеве // Жизнь Николая Гумилева. С. 155–156). Кстати, эта мера предосторожности действительно "сработала": первый ордер на арест Гумилева и обыск его жилья был выписан 3 августа 1921 г. на адрес "Преображенская, 5/7. Кв.2" (см.: Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 271), и команда чекистов во главе с неким Мотовиловым поехала сначала именно туда. Не найдя там никого, чекисты производили разыскные меры, и арест состоялся только глубокой ночью с 3 на 4 августа 1921 г. Таким образом, у Гумилева действительно было несколько часов в случае, если бы соседи из дома на Преображенской смогли как-то известить поэта о чекистском "визите". К сожалению, этого не произошло.

Лукницкая. В.К. Любовник. Рыцарь. Летописец (Три сенсации из Серебряного века). М., 2005. С. 175.

105

О скандале, возникшем в Бежецке, упоминает в своих воспоминаниях А. С. Сверчкова: "Ася (А.Н. Гумилева. — Ю.З.) была мелочна, глупа, жадна и капризна. Во время голода 1920–1921 гг. он (Гумилев. — Ю.З.) прислал ее с дочкой Леночкой в Бежецк и стал высылать миллионы на содержание жены и дочери, но Ася капризничала, требовала разнообразия в столе, а взять было нечего: картофель и молочные продукты, даже мясо с трудом можно было достать. Ася плакала, впадала в истерику, в то время как Леночка, стуча кулачками в дверь, требовала "каки", т. е. картофеля. Своими капризами Ася причиняла Анне Ивановне много неприятностей и даже болезней. Чтобы получить от мужа лишние деньги, она писала ему, будто бы брала у Александры Степановны в долг и теперь по ее "неотступной" просьбе должна ей возвратить. Выяснилось, что все это выдумки, и Николай Степанович взял ее обратно в СПб" (Сверчкова А. С. Записи о семье Гумилевых // Жизнь Николая Гумилева. С. 19). Не будем забывать, что это трактовка инцидента одной из "заинтересованных сторон".

106

Кузмин М. А. Дневник 1921 года // Минувшее. Исторический альманах. 12. С. 474.

107

Чуковский К. И. Дневник. 1901–1929. С. 170. Следует отметить, что детские дома воспринимались тогдашними властями как эффективная форма "коммунистического воспитания", входили наряду с детскими садами, создаваемыми в деревнях, на заводах и фабриках, в систему т. н. "экспериментальных площадок" Наркомпроса и очень хорошо снабжались. Ахматова вспоминала, что еще в 1919 г.: "Николай Степанович, по примеру Т. Б. Лозинской, служившей в Детском доме и туда же поместившей своих детей (Т. Б. Лозинская всегда преподавала — и в мирное время), хотел (потому, что у него, вероятно, тоже острый момент пришел, и не было никаких продуктов), чтоб А<нна> И<вановна Гумилева> тоже поступила в Детск<ий> дом и взяла туда Леву. А.Л. это казалось бессмысленным и очень неблагоприятным таким образом для Левы, да и для А.И. — старой и не сумевшей бы общаться с фабричными детьми" (Лукницкий П. Н. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1. С. 133).

108

Владимир Александрович Павлов (1900 — после 1923) — морской офицер, литератор, в 1923 г. работал в Музее Революции (Москва). В апреле 1921 г. он находился в командировке в Петрограде, жил в вагоне военного поезда на Николаевском вокзале и, помимо служебных обязанностей, посещал литературные салоны, поскольку увлекался стихотворчеством. Здесь он познакомился с О. Э. Мандельштамом и Н. А. Оцупом, которых заинтересовал не столько своими стихами, сколько возможностью получать с военных складов спирт в неограниченном количестве. 2 мая 1921 г. Мандельштам и Оцуп в Доме Искусств познакомили Павлова с Гумилевым. По-видимому, обнаружив в Павлове горячего поклонника своей поэзии, Гумилев быстро "сориентировал" нового знакомца, намекнув на свою любовь к путешествиям и отсутствие в летние месяцы каких-либо дел в городе. Павлов предложил певцу "Музы дальних странствий" прокатиться вместе с ним в Крым, что было тут же с благодарностью принято. Этот вариант был тем более удобен для Гумилева, что флаг-секретарь "коморси" Немитца брал на себя оформление всей необходимой документации. Свои воспоминания о встречах с Гумилевым в мае-августе 1921 г. В. А. Павлов продиктовал в 1923 г. Л. В. Горнунгу (см.: Жизнь Николая Гумилева. С. 204–206). Начальник Павлова, вице-адмирал Александр Васильевич Немитц(1879–1967), с марта 1920 г. командовал морскими силами РСФСР, во время Гражданской войны руководил боевыми операциями на Каспийском и Черном морях.

109

См.: Сомов Л. Севастопольская экспедиция Гумилева// Слава Севастополя. 1989. 15 апреля (№ 72 (18033)); Николай Гумилев. Исследования и материалы. С. 522–523. Волошин М. А. [Из дневников] // Жизнь Николая Гумилева. С. 206–207.

110

В Ростове-на-Дону Гумилев посетил театр-студию "Театральная мастерская", в котором с 1920 г. шла его драматическая поэма "Гондла". "Летним вечером 1921 г., — вспоминала актриса "Мастерской" Г. Н. Халайджиева, — в последний раз собрались в своем театре: сезон закончился, все получили отпускные. Мужчины пошли покупать продукты, а девочки остались. Вдруг в 9 часов вечера примерно входит страшный косоглазый человек в потертом пальто и, не здороваясь, спрашивает: "Как пройти к директору?" Я указала. Через некоторое время выбегает С. М. Горелик:

— Немедленно собрать всю труппу! Даем занавес!

— Но мы уже в отпуске!

Собрались только к часу ночи. В зале сидели двое: Н. С. Гумилев и С. М. Горелик. Все актеры дрожали. Но спектакль прошел хорошо. Часа в 2 ночи Гумилев уже уезжал, и его пошли провожать все.

— Спектакль мне во как понравился (жест под подбородок). Хотите стать петроградским театром? Я буду вашим директором. Ну как? Едете?" (Халайджиева Г. Н. [О постановке "Гондлы"] // Жизнь Николая Гумилева. С. 203–204). По всей вероятности, "ростовский эпизод" связан с тем, что, по свидетельству В. А. Павлова, он и Гумилев "когда уезжали из Севастополя, то каким-то образом опоздали на свой поезд. Пришлось идти к начальнику вокзала и затем ехать другим" (Павлов В. А. Воспоминания о Н. С. Гумилеве // Жизнь Николая Гумилева. С. 205). Очевидно, в Ростове-на-Дону они "нагнали" поезд Немитца и должны были пересаживаться.

111

См.: Жизнь Николая Гумилева. С. 110–112.

Там же. С. 120.

113

Там же. С. 112.

Одоевцева И. В. На берегах Невы. С. 314–326.

115

Иванов Г. В. Петербургские зимы // Иванов Г. В. Сочинения. В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 167.

116

См.: Берберова Н. Н. Курсив мой. Кн. 1. Нью-Йорк, 1983. С. 129–138.

117

Вечер издательства "Петрополис" состоялся в петроградском Доме литераторов 11 июля 1921 г. В этот же день, двумя часами позже открывался Клуб поэтов в Доме Мурузи.

118

Это была служебная квартира Агрономического института, в библиотеке которого с июня 1920 г. А. А. Ахматова работала делопроизводителем.

119

Лукницкий П. Н. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1.С. 160–162.

120

См.: Тименчик Р. Д. По делу № 214224. С. 118–119.

121

Иванов Г. В. О свитском поезде Троцкого, расстреле Гумилева и корзинке с прокламациями. С. 387. Этот разговор мог происходить только в июле 1921 г., т. к арест Таганцева состоялся уже после отъезда Гумилева из Петрограда в Крым.

122

В этом смысле обращает на себя внимание мелькнувший среди собеседников поэта в его последние петроградские недели глава эстонской миссии в России Г. А. Орг. Поэт виделся с ним 11 июля 1921 г. на квартире В. И. Немировича-Данченко в присутствии М. А. Кузмина (см.: Намирович-Данченко В. И. Рыцарь на час. С. 231; Кузмин М. А. Дневник 1921 г. (продолжение) // Минувшее. Исторический альманах. 13. М. — СПб., 1993. С. 467), но кроме того, что на этой встрече обсуждалось сотрудничество поэта с ревельским издательством "Библиофил", оба упомянутых источника ничего не сообщают. Однако в дневнике М. А. Кузмина за 5 августа 1921 г. имеется запись: "Скучно. Гум, действительно, арестован. Не в связи ли с Оргом?" (Кузмин М. А. Дневник 1921 г.// Минувшее. Исторический альманах. 13. С. 474). Г. А. Орг отбыл в Эстонию накануне ареста Гумилева.

123

См. в воспоминаниях О. А. Гильдебрандт-Арбениной: "Юра говорил мне, что слыхал от Сторицына, что тот говорил, что хотят арестовать Гумилева. Юра подошел к нему на улице и сказал: "Николай Степанович, я слыхал, что за вами следят. Вам лучше скрыться". Он поблагодарил Юру и пожал ему руку". Гильдебрандт-Арбенина О. Н. Гумилев // Гильдебрандт-Арбенина О. Н. Девочка, катящая серсо… С. 146). Упоминаются: Юрий Иванович Юркун (1895–1938), художник и писатель, гражданский муж Арбениной, и Петр Ильич Сторицын (настоящая фамилия Коган, 1894–1941), поэт и журналист, сотрудник газеты "Жизнь искусства", по определению Арбениной, "сплетник". См. также: Иванов Г. В. О Гумилеве / Иванов Г. В. Сочинения. В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 555.

Цит. по: Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 293.

125

См. там же. С. 284–285.

См.: Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 265–266.

127

См. докладные записки агентов Матвеева и Мотовилова (?): Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 275.

128

В засаду в Доме Искусств попал 5 августа 1921 г. М. Л. Лозинский. Его продержали на Гороховой, 2, двое суток и выпустили утром 8-го. См.: Оношкович-Яцына А. И. Дневник 1919–1927 //Минувшее. Исторический альманах. 13. М.: СПб., 1993. С. 413–414.

129

Цит. по: Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 290.

130

Цит. по: Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 290–291.

131

Цит. по: Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 291.

132

Иванов Г. В. О свитском поезде Троцкого, расстреле Гумилева и корзинке с прокламациями. С. 387.

133

См.: Крейд В. Указ. соч. С. 288–289.

Иванов Г. В. Мертвая голова. С. 371.

135

См.: Тименчик Р. Д. По делу № 214224. С. 117.

Слонимский М. Л. Из воспоминаний о Н. С. Гумилеве С. 157.

137

См.: Фельдман Д. Дело Гумилева // Новый мир.1990. № 4. С. 265.

Перченок Ф. Ф. Список расстрелянных…//Новый мир. 1989. № 4. С. 268.

139

Терехов Г. А. Возвращаясь к делу Гумилева // Новый мир. 1987. № 12. С. 257–258. Выделено везде мною. — Ю.З.

Некоторые из них остаются у автора этих строк и сейчас. Зачем покойному Г. А. Терехову, который, как это уже понятно нашим читателям, мягко говоря, многое недоговаривал — из самых лучших побуждений, ни в коем случае не хочу ставить это ему в вину! — надо было называть Германа школьным другом и однополчанином Гумилева? Ю. П. Герман был однокашником Георгия Иванова (по Кадетскому корпусу) и на фронте действительно был, но с Гумилевым вместе не служил. Для общей концепции защиты Гумилева, выработанной Г. А Тереховым (блестящей, как мы увидим), этот очевидный и не имеющий никаких оснований в "деле Гумилева" домысел, скажем, забегая вперед, никак не нужен! На ум приходит только простительное желание внести в строгую систему юридической аргументации сентиментальную ноту… Помимо того, о "предрассудках чести, не позволяющих пойти "с доносом" сам Гумилев ничего не заявлял: в ныне известных протоколах его допросов такого нет. Зачем же нужно было вносить эти дополнительные смысловые нюансы в столь важную и столь очевидную формулу версии мотивации его поступков? Или в "Деле № 214224" в 1986 г. были, помимо изъятых ранее доносов секретных осведомителей ПетроЧК, и еще какие-то документы, также изъятые перед тем, как В.К. и С. Н. Лукницкие предали в 1990 г. содержание "Дела Н. С. Гумилева" гласности?

141

См.: Известия. 1991. 21 сентября (№ 226). С. 6.

142

Голинков Д. Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. С. 114–115. Выделено везде мною. — Ю.З.

143

См. Перченок Ф.Ф. Список расстрелянных. С. 264.

Фельдман Д. Дело Гумилева. С. 267–268. Выделено везде Д.Ф.

145

См. об этом: Петров М. В дополнение к "Делу Н. С. Гумилева". С. 264.

См.: Жизнь Николая Гумилева. С. 210–212.

147

Ленин В. И. Полное собрание сочинений. М., 1970. Т. 53. С. 272.

См.: Жизнь Николая Гумилева. С. 298.

149

См.: Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С. 308–309.

Крейд В. Указ. соч. С. 285.

151

См.: Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 290–291.

152

[152] Вспомним статью Г. А. Терехова, по всей вероятности, знавшего истину по "иным (в том числе следственным и судебным) материалам", имевшимся в "других уголовных делах", но к "делу Гумилева" не приобщенным и, следовательно, "исходя из требований презумпции невиновности", "не могущим быть направленными в обвинение Гумилева" (см.: Терехов Г. А. Указ. соч. С. 257). Терехов по достоинству оценил "адвокатские" таланты Гумилева!

153

Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 295.

Хлебников О. Шагреневые переплеты // Огонек. 1990. № 18. С. 13.

См…Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 274.

Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 290.

157

См.: Перченок Ф. Ф. Список расстрелянных. С. 268.

См.: Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 280, 283.

159

Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 296.

См.: Крейд В. Указ. соч. С. 296.

161

См.: Legget G. The Cheka: Lenin’s political police. Oxford 1981. P. 442–443. И здесь, заметим, Агранов остался верным себе: в зиновьевско-каменевском "Московском процессе" Яков Саулович отвечал за самое важное "дело" — "дело Зиновьева" и подготовил его так, что даже Р. Конквист не мог удержаться от того, чтобы особо не отметить профессионализм Агранова. — см.: Conquest R. The Great Terror. Harmondsworth, 1971. P. 138.

Сажин В. Предыстория гибели Гумилева С. 93.

163

Русская мысль. 21 октября 1971 (№ 2865).

Мандельштам Н. Я. Вторая книга. Париж, 1978. С. 166.

165

Письмо в защиту Н. С. Гумилева // Русская литература. 1988. № 3. С. 183.

166

Цит. по: Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 294, даты нет.

167

См.: Тименчик Р. Д. По делу № 214224. С. 121–122.

168

Ленин В. И. Полное собрание сочинений. М., 1970. Т. 53. С. 109. Выделено везде В.Л.

169

Жизнь Николая Гумилева. С. 274.

Ходасевич В. Ф. Некрополь. Париж, 1976. С. 234.

171

См.: Жизнь Николая Гумилева. С. 273–274. Агранов не возражал, но это запомнил и, вероятно, с особым удовольствием "прикосновения" в 1934 г. Ивана Петровича к созданному тогда аграновскими стараниями вокруг убийцы Кирова Николаева "Ленинградскому террористическому центру" — см.: Conquest R. The Great Terror. P. 86–87.

Цит. по: Тименчик Р. Д. По делу № 214224. С. 118.

173

См.: Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С. 235.

Иванов Г. В. Петербургские зимы. С. 169–170.

175

См.: Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 289, 290, 291, 294.

См.: Лукницкая В. К. Николай Гумилев. С. 294, 296.

177

Лит. газета. 1991. 7 августа (№ 5357). С. 11.